

26.89(21)

КР. 0-54



АНАТОЛИЙ ОМЕЛЬЧУК

РЫЦАРИ СЕВЕРА



Рассказы о советских ученых - энтузиастах, создавших письменность для малых народностей Севера — ненцев, ханты, манси, селькупов.

26,89(21)

АНАТОЛИЙ ОМЕЛЬЧУК 0-57



РЫЦАРИ СЕВЕРА



Читальный зал

ОУР

- 9944 -

Государственное учреждение
"Национальная
библиотека ЯНАО"

Средне-Уральское
книжное издательство
Свердловск
1982

ББК 26.89(2)
0-57

Рецензенты:
кандидат исторических наук В. И. Мошинская,
кандидат исторических наук Л. В. Хомич.



○ $\frac{20901-038}{M158(03)-82}$ 1905020000

© Средне-Уральское
книжное издательство, 1982

Пожалуй, такого не было во всей истории высшего образования: в институт принимали неграмотных.

Мало того, они ехали в Ленинград и не знали русского языка. Молодой, добравшийся с Чукотки парень показывал всем встречным удостоверение, подписанное председателем туземного РИКа, в котором по-русски было написано одно слово: Ленинград. Его препровождали до первого постового или другого представителя власти.

Добирался он долго, но добрался. Язык, говорят, доводит до Киева. Его довело до Ленинграда желание учиться.

Есть в конце Старо-невского проспекта чудеснейший архитектурный ансамбль — Александро-Невская лавра. Ансамбль расположился чуть в стороне от шумного проспекта. Перейдя мостик, вдруг ощущаешь какую-то осо-



Глава

1

УНИКАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ

бую тишину и несуетность. На это настраивают и молчаливые главы церквей, и задумчивость кладбищенской рощи, под деревьями которой покоится прах многих выдающихся россиян.

Далекая от мирской суеты, лавра неожиданно вошла в историю Советского Севера. Когда в 1930 году Северный факультет Восточного института имени А. С. Енукидзе был преобразован в Институт народов Севера, новому вузу был отдан один из корпусов духовной семинарии, расположенной на территории лавры. Здание выходило на Обводной канал, и в разговоре «северников» тех лет «лавра» и «Обводной канал» обозначали одно — ИНС. Институт притягивал к себе национальную молодежь из тундр Таймыра, Ямала, Колымы, Чукотки, с Камчатки и Сахалина. Вступительных экзаменов не было: сама поездка в Ленинград экзаменовала тех, кто решился начать трудный путь к знаниям, решился преодолеть многовековые традиции и предрассудки.

Подготовительный курс можно было приравнять к первому классу, а первый курс — к настоящему институтскому курсу. При ИНСе существовал специальный интернат, студентов обували, одевали, кормили, им выдавали стипендию. Здесь же работал медицинский пункт с больничкой. На Севере свирепствовал туберкулез и другие болезни, и каждый студент находился под тщательным наблюдением.

К оторванным от дома, попавшим в незнакомую обстановку студентам ИНСа, хотя были они отнюдь не детского возраста, требовалось отношение как к детям, родительская забота. И прежде всего Советская власть заботилась о главном: о приобщении студентов к знаниям. В стенах института изучали родные языки, фольклор, здесь каждый мог вы-

явить свои литературные и художественные способности. Как далеко это было от русификаторской политики царского правительства! «Конечной целью образования всех инородцев, живущих в пределах нашего отечества, бесспорно, должно быть обрусение их и смешение с русским народом», — так гласил циркуляр, изданный министром народного просвещения в 1870 году.

Советские педагоги предлагали другой метод — постижение высот мировой цивилизации через национальные особенности.

ИНС был единственным в государстве институтом, который непосредственно подчинялся высшему органу власти — ЦИК СССР. Титул «при ЦИК СССР» был не просто формальностью, а показывал, какое значение придается большому революционному делу — приобщению к высотам просвещения отсталых народностей Севера. Это было свидетельством подлинно государственной заботы.

Душой института, несомненно, являлся Владимир Германович Богораз-Тан. Сподвижник знаменитого народовольца Андрея Желябова, редактор последнего номера журнала «Земля и воля», организатор последнего съезда «Народной воли», после трехлетней отсидки в Петропавловке он в 1889 году был сослан в Среднеколымск. Богораз прожил на Колыме девять из десяти назначенных царским трибуналом лет: освобожден он был по ходатайству Академии наук, ибо за девять лет сумел создать себе авторитет в этнографии. Богораз сначала изучал «койимский найод» — так называли себя осевшие на Колыме казаки, позднее перешел к этнографическим исследованиям юкагиров и чукчей, принял участие в Якутской экспедиции Сибирякова. После возвращения в Европу его пригласили участвовать в международной экспедиции, которую организовал

на север Азии и Америки американский меценат Моррис К. Джебзуи. Позднее Владимир Германович редактировал легальные марксистские журналы «Начало» и «Жизнь», но в годы реакции полностью ушел в науку и литературу (издал десятитомное собрание прозы, томик стихов).

В 1921 году он стал профессором Географического института, вел кафедру этнографии.

В 1924 году, когда был организован Комитет содействия народностям северных окраин (сначала его называли Комсод, позднее — Комитет Севера), Богораз был введен в президиум этого, столь много сделавшего для развития национальных окраин, правительственного органа. Здесь Богораз, пользуясь поддержкой таких членов Комитета, как П. Г. Смилович, А. В. Луначарский, Е. И. Ярославский, А. С. Енукидзе, Л. Б. Красин, Н. А. Семашко, предложил создать специальное высшее учебное заведение, которое бы готовило кадры для работы на Севере. Институт, по мысли его создателей, должен был стать «кузницей» северных кадров.

Богораз, с его приветливостью, душевностью, неистощимым жизнелюбием, придавал делу обучения северян особую человечность. Он олицетворял тот гуманизм, с каким Советская власть подходила к делу возрождения отсталых народов.

Узнав о приезде новых студентов, даже одного северянина, седой профессор спешил к нему, внимательно расспрашивал, как тот добирался, в чем нуждается, спешил устроить в интернат. Чукча Тывлянто, тот самый, что проехав всю страну, не зная ни единого русского слова, в вестибюле ИИНСа наконец-то услышал родную речь. Владимир Германович спешил встретить «земляка». Чукотский он знал в совершенстве: ведь даже в Америке издали его четырехтомную монографию «Чукчи».

Годы проведенный среди чукчей, эскимосов, юкагиров, Владимир Германович считал, что этнограф обязан знать язык того народа, который он изучает.

«Работать в поле без знания языка совершенно невозможно, — внушал он своим слушателям, — это дилетантский подход, невольное презрение к данному народу, вульгаризация работы».

Участвуя в работе конференции по выработке северного алфавита, он просил записать в резолюции:

«Непременным условием успешной этнографической полевой работы является основательное знание языка изучаемой народности. Лишь знание языка дает возможность полевому этнографу изучить культурные явления в их жизненной конкретности и цельности».

Столь же важным он считал устное народное творчество северян.

«Фольклор — это словесные документы бесписьменных народов, — напоминал он своему ученику. — Народная память хранит это устное богатство дословно и бережно, и защитой ему служит туземный язык, архаический и пышный, полный оборотов, которые уже не встречаются в обыденной речи. Вот почему фольклорное богатство надо непременно записывать в туземном тексте, ничего не сокращая».

Поэт и беллетрист часто перевешивали исследователя в этой увлекающейся натуре. Возможно, его работы и грешат некоторыми небрежностями, которые не позволил бы себе «классический» ученый, но зато никто не мог зажечь студентов так, как это мог делать Владимир Германович. Лучшие его ученики и последователи вобрали в себя то, что отличало этого патриарха североведения, — широту кругозора, энтузиазм, высокое чувство ответственности за любое, каким бы оно ни казалось мел-

ким, дело. Они учились постоянно. Ведь и сам профессор на исходе шестого десятка лет с добросовестностью неопита принялся за изучение марксистской методологии, которой в ту пору так не хватало этнографии.

Знавшие его говорили, что в нем было что-то чеховское. Наверное, не только потому, что Владимир Германович и Антон Павлович учились в одной таганрогской гимназии. У Богораза был чеховский подход к жизни: верить в светлое, несмотря на все трудности. И таким оптимистом он остался в истории северной культурной революции.

Если он был сердцем Института народов Севера, то головой этого уникального вуза, несомненно, был Ян Петрович Кошкин. Латыш с сугубо русской фамилией, он придумал себе псевдоним — Алькор, подписывая им научные работы.

Его биография, богатая весьма неожиданными метаморфозами, — порождение эпохи. Совсем юной Ян Кошкин участвовал в гражданской войне и уже в 22 года был комиссаром кавалерийской школы в Петрограде. Но увлекала его не только политическая подготовка красных конников.

Здесь мне хочется воспроизвести рассказ Юрия Абрамовича Крейновича, одного из старейших советских этнографов и лингвистов, доктора филологических наук, старшего научного сотрудника Института языкознания АН СССР, который семнадцатилетним студентом познакомился с Яном Петровичем:

— Помню, на курсе, который вел профессор Гредескул, появился военный. Невысокого роста, в кожане, в военной армейской фуражке, в галифе и сапогах со шпорами. Но всех поразила, конечно, не выправка кавалериста, а то, что он появился на курсе «История развития общественных форм». Ка-

кое отношение имеет эта история к военному делу? Но первым такой вопрос задал он сам — мне и моему другу Павлу Моллу. Мы рассказали, что нас привела сюда работа Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности и государства».

— Если вас действительно это интересует, — убежденно сказал военный, — вам надо идти к профессору Штернбергу.

И он начал рассказывать о неизвестном нам тогда Льве Яковлевиче Штернберге, о котором в свое время писал даже Энгельс.

Нас это, естественно, поразило. Откуда военный человек все это знает?

Новый знакомец оказался человеком решительным и повел нас в университет, где Штернберг должен был читать свой курс «Введение в этнографию». Публика показалась нам весьма разношерстной. Рядом с нашими сверстниками, и пролетарского вида и старомодных по-буржуазному, сидели пожилые люди и даже несколько старушек. В аудиторию вошла мрачноватая фигура в наглухо застегнутой шубе с каракулевым воротником и каракулевой шапке. Лицо профессора как-то странно кривилось, и гримаса была не из приятных. Вряд ли он вызывал восхищение, на которое мы настроились, послушав Кошкина. Но это был тот самый Штернберг, в молодые годы за свои народовольческие убеждения попавший на Сахалин к гилякам, занявшийся изучением этого народа, написавший этнографический отчет, который опубликовали «Русские ведомости» и которому Ф. Энгельс посвятил статью «Вновь открытый пример группового брака».

Штернберг, ни слова не говоря, разделся, сел за стол, свернул сигарку, закурил, потом запустил руку за пазуху и стал один за другим вытаскивать оттуда конверты. Они рассыпались, он их долго

собирал, оставил четыре, остальные сложил обратно. Из четырех конвертов достал маленькие карточки и начал читать. Это была лекция о Васко да Гаме, но не только о нем, но и о всей эпохе великих географических открытий. И читал он так, что не прийти на вторую лекцию мог только стопроцентный олух.

После лекции мы горячо спорили с Кошкиным и все больше убеждались, насколько глубоки познания бывшего политкомиссара кавшколоу в философии, социологии, этнографии, археологии. Его интересовали проблемы генезиса человеческого рода, развития общественных отношений, языка.

Он пригласил нас к себе на улицу Воинова. Крохотная комнатка и кухня составляли обитель этого мыслителя, все было заставлено полками с книгами, завалено ими. Огромное количество книг! Его жена Мария Андриановна очень приветливо нас встретила, мы мило беседовали, но когда спорили с Кошкиным, он не обращал внимания на то, что мы гости. Хотя он был старше нас с Павлом всего на 4—5 лет, между нами лежала пропасть — столь это был разносторонний, широко образованный человек. Именно он ввел нас в этнографию, в североведение.

Всего за один год Кошкин сдал трехлетний университетский курс по общественно-политическому отделению и уже через год начал преподавать исторический материализм на этнографическом факультете университета. В 1925 году он уже был ученым секретарем этого отделения: Богораз и Штернберг быстро поняли, какими организаторскими резервами обладает эта — как они его называли — «светлая голова». Заручившись поддержкой своих старших товарищей, он принялся за реорганизацию преподавания этнографии в университете. Он предло-

жил специализацию. Если раньше этнограф знал понемногу обо всем, то теперь, по мысли Кошкина, он должен был знать все в определенной области. Кошкин предложил вести преподавание по циклам: славянскому, тюркскому, финно-угорскому, палео-азиатскому, тунгусо-маньчжурскому. Подразделение этнографов по языкам и определенным ареалам ведет начало от этой реформы. В ней заключалось смелое предвидение того, что вскоре понадобится молодой стране.

В проекте введения специализации Ян Петрович так сформулировал свою мысль:

— Руководящим принципом этнографической науки должно служить изучение старого затем, чтобы построить новое.

И аргументировал свой постулат:

— В настоящее время работа этнографа заключается не только в том, чтобы изучать бытовые формы этнических групп, выяснять их влияние, замедляющее или ускоряющее, на развитие социальных, политических и общественных форм. Не менее важно для этнографа принимать активное участие в строительстве нового общества во всеоружии знания старых условий и форм.

В лучших традициях того времени Кошкин называл этнографа «инженером» нового быта:

— Перестройка быта начинает играть все более видную роль в нашей стране; без перестройки быта немыслима организация социалистического общества. В работе по изучению и перестройке быта этнографу должно по справедливости принадлежать ответственное место.

Может, в этих суждениях и есть налет некоторой категоричности, но они продиктованы требованиями той эпохи. В Кошкине это время нашло яркого выразителя.

Сам он увлекся изучением тунгусов (эвенков), народности немногочисленной, но занимающей громаднейшую территорию от низовий Енисея до Охотского побережья и Амура. Увлечение это вряд ли случайно, ибо эвенки, учитывая обширность их распространения и контакты со многими народностями Сибири и Дальнего Востока, могли стать для исследователя ключом ко многим этнографическим и языковедческим тайнам. «Тунгусы — аристократы Сибири», — с удовольствием цитировал Ян Петрович их первого исследователя Александра Кастрена.

На Северном факультете училось 22 эвенка, с которыми Кошкин усиленно сотрудничал. Но главными его информаторами были киренские эвенки А. и В. Салаткины и баргузинский житель Е. Полтеев, с помощью которых и был разработан проект первого эвенкийского алфавита.

Энергия Яна Петровича проявилась уже в том, что в ЛГУ он организовал кафедру по тунгусской этнографии и языку, в 1926 году — кафедру тунгусского языка в Северо-Азиатском семинарии. Кошкин предложил создать Тунгусологическое общество в Ленинграде и уговорил Богораза и Штернберга редактировать «Тунгусские сборники». Не все его начинания были «долгожителями», но все они способствовали пробуждению интереса к основательно забытым наукой тунгусам.

Попав в среду североведов, Ян Петрович становится самым правозерным из них. Все начинания в этой области науки конца двадцатых и начала тридцатых годов связаны с именем Алькора. Созданию специального Северного института предшествовала пятилетняя подготовительная работа: Кошкин еще в 1925 году стал инициатором создания рабфака северных и восточных народностей при университете. На рабфаке на первом году его существования учи-

лись 26 студентов, представлявших различные народности Сибири и Дальнего Востока. На следующий год здесь уже насчитывалось 70 слушателей. Рабфак был реорганизован в факультет нового Ленинградского института живых восточных языков и переехал в знаменитое Детское Село, под Ленинград. О том, чем занимались сгруппировавшиеся в специальный кружок северяне, ярко свидетельствует памятка, разработанная Богоразом и Кошкиным и врученная студентам, отправляющимся в родные места на каникулы летом 1927 года. Пожалуй, назвать каникулами этот период будет явно неточно, потому что как раз на местах-то и начиналась настоящая работа. Студент должен был стать деятельным помощником советских органов, пропагандистом, агитатором.

«Стремись объединить туземных батраков, бедняков и середняков против кулака, — призывала каникулярная памятка. — При всяких самообложениях доказывай, что взносы должны распределяться не поровну, а по богатству».

Студент должен был стать и полпредом своего института.

«Объясни, — советовала памятка, — что в этом Северном Университете готовят туземный актив для советской кооперативной и культурно-просветительной работы на северных окраинах. Принимай деятельное участие в вербовке нового состава слушателей Северного Комитета. Намечай кандидатов-туземцев: детей батраков, бедняков, середняков, честных, развитых, здоровых и хорошо знающих свой язык. Грамотность не обязательна».

Студент должен быть и этнографом:

«Записывай сказания и песни — это пригодится в выработке туземного литературного языка».

Памятка была обширной и направленной про-

граммой, нацеленной на то, чтобы грамотный северянин сразу же включился в активную деятельность по перестройке национального быта.

В активе кружка, а Ян Петрович возглавлял его правление, два замечательных начинания. К 1928 году была закончена большая работа по замене официальных названий туземных племен, оставшихся с дооктябрьского времени. Оскорбительные клички были заменены на самоназвания. Именно с этого года перестали существовать «самоеды», «остяки», «вогулы», «енисейцы», «остяко-самоеды», а появились ненцы, ханты, манси, кеты, селькупы. Правда, пройдет не одно десятилетие, прежде чем старые названия исчезнут окончательно и из научной литературы, и из памяти народной.

В том же году был выпущен первый сборник «Тайга и тундра». Обычная как будто книжка. На бумажной обложке изображение спешащего охотника, на нем меховая одежда и обувь, широкие лыжи, за поясом топорик и колчан со стрелами. Но по существу книга эта необычна. И не только потому, что в качестве издателя выступает северный кружок при Северном факультете Ленинградского Восточного института имени А. С. Енукидзе. Содержание, пожалуй, тоже особой оригинальностью не отличается — здесь опубликованы записи устного народного творчества, заметки и рассказы об обычаях, быте северных народностей.

И все же эта книга более чем необычна. Хорошо и проникновенно сказал об этом Богораз:

— В первый раз северные туземцы, некультурные, бесписьменные, пишут о себе. (Авторами были только студенты факультета. — А. О.) До сих пор о них писали другие. Описывали их путешественники, доносили полицейские чиновники, сурово порицали их поклонение идолам витиеватые рапорты

отцов-миссионеров. Но теперь они пишут сами, о собственных делах.

Выпуск «Тайги и тундры» отметил председатель Комитета Севера П. Г. Смидович. «В повседневных усилиях за лучшее советское будущее пробуждаются и растут на Севере нужные силы, — писал он в предисловии. — Только своими силами в суровых условиях Севера построят новую жизнь народы Севера. Им должны вы, — обращался заместитель председателя ВЦИК к авторам сборника, — принести знание, сознательность, умение и планы работы, — принести туда, в далекую тундру, в дикую тайгу, которые стоят в заголовке вашего сборника. Я видел вас, я видел порыв ваш и вашу готовность выполнить свой долг. При новых условиях от этих искр возгорится пламя новой жизни на далеком, холодном, диком Севере».

Кружок, рабфак, факультет — все это были необходимые этапы создания вуза для северян... В 1930 году Институт народов Севера был создан. Первым директором его был назначен Карл Янович Лукс — профессиональный революционер в прошлом, герой гражданской войны в Восточной Сибири, председатель Дальневосточного бюро Комитета Севера. Он был необычайно, потрясающе работоспособен, этот огромный человек, с плечами и прической боксера и душой отзывчивой и доброй. Для многих своих сотрудников, а они были молоды и нуждались в отеческой поддержке, он стал отцом родным. Лукс быстро вошел в курс дела, наладил теснейшие контакты с Комитетом Севера, именно ему принадлежит заслуга в том, что новоиспеченный институт был взят под «опеку» ЦИК СССР. И именно он наметил те направления, по которым должно было развиваться невиданное в истории просвещения учебное заведение. Институт, по его разработкам, дол-

жен был готовить «туземных» партийных работников и специалистов «индустриально-промыслового уклона». Кроме того, первый директор считал, что ИИС должен иметь свое издательство и «ячейку высшего учебного заведения» для научных исследований и подготовки педагогов, лингвистов и литературных работников высшей квалификации.

«Заядлый местный работник», как называл себя Карл Янович, новую свою деятельность видел весьма масштабно.

«Эта мирового значения работа,— писал он в статье «Проблемы письменности у туземных народов Севера»,— для поднятия культурного уровня северных туземных народностей заслуживает того, чтобы для проведения ее были мобилизованы именно лучшие силы. Кустарничеству в разрешении большого вопроса, имеющего также глубокое политическое значение, в порядке частной инициативы отдельных исследователей, необходимо положить конец. Малочисленность северных туземных народностей — не довод против необходимости этой работы и нужных для этого затрат... Надо покончить с традиционным, кое-где сохранившимся отношением к туземцам, как к каким-то зоологическим редкостям, интересующим только узких специалистов и фанатических любителей Севера. Туземцы хотят быть и будут полноправными участниками нашей социалистической стройки».

«Луксовский» период продолжался недолго, Карла Яновича перевели на другую работу. Бразды правления взял его заместитель Ян Петрович Кошкин.

Алькор первым делом создал отделение советского строительства. Сюда принимали уже людей более солидного возраста, желательно грамотных и с опытом работы на местах. Им преподавались во-

просы советского строительства, правовые дисциплины, общественные науки. Диплом ИНСа получали люди, которым предстояло проводить в родных краях кооперирование, коллективизацию, культурную революцию.

В отличие от своих сотрудников Кошкину не доводилось бывать в северных районах. Но он необычайно остро чувствовал особенности студентов, понимал их душу.

Даже для многих преподавателей явилось неожиданным, когда в институте была создана художественная мастерская, которую возглавили профессиональные художники Месс и Успенский. Северяне с их зорким охотничьим зрением в своей массе — неплохие художники, и Ян Петрович подметил это. А любовь к изобразительному искусству у студентов была столь велика, что создание мастерской один из очевидцев назвал «прорывом плотины». Это действительно был прорыв творческих людей, которые долгое время были вынуждены сдерживать себя. Руки начинающих художников и скульпторов были столь точны, что казалось — эти молодые люди давно занимаются графикой, лепкой. А ведь они только вчера взяли в руки лист ватмана с карандашом, глину для лепки. И в то же время в их произведениях было столько замечательной наивности, которой может обладать лишь человек, выросший естественно, как дерево на природе. Уже в 1937 году работа группы студентов ИНСа была отмечена Гран-при на Всемирной выставке в Париже. Среди лауреатов выделялся саранпаульский ненец Константин Панков.

Хозяйская рачительность директора распространилась буквально на все. При институте был создан специальный медико-антропологический кабинет. Здесь студентов не только учили

9944

логии. Так как далекие экспедиции в те времена проводить было сложно, то приходилось использовать самих студентов в качестве предмета изучения. На каждого из них заводилась антропометрическая карта.

— Надо поработать для науки,— говорил Ян Петрович.

К делу создания письменности на языках народов Севера было привлечено немало научных и практических организаций. Но главную скрипку играли все же сотрудники ИНСа. Еще в Северном кружке Кошкин создал три секции: финно-угро-самоедскую, тунгусо-маньчжурскую и палеоазиатскую. Возглавив ИНС, Ян Петрович создал научно-исследовательскую ассоциацию, нечто вроде научно-исследовательского института при вузе. Там были секции педагогическая, общественных наук, но выделялась лингвистическая с группами финноугроведов, исследователей палеоазиатских и тунгусо-маньчжурских языков. На повестке дня стояла важнейшая для лингвистов и этнографов тридцатых годов задача — сделать грамотными бесписьменные народности далеких окраин.

Авторитет Кошкина среди ученых, хотя он вошел в их среду совсем недавно, был очень высок. От этого плотного, как все прибалты светловолосого человека исходило чувство уверенности, силы воли. Был он немногословен и по-военному четко умел обойтись краткими фразами. Но это не обязательно был только приказ, было и убеждение, разъяснение.

Разносторонность его познаний поражала, казалось, что он все схватывает на лету. Изучением тунгусского языка ему пришлось заняться отчасти не по собственной воле: просто не нашлось знатока этого языка, а букварь и учебники создавать было необходимо. Через некоторое время ему пришлось

присутствовать на лекции одного из ведущих языковедов Н. Н. Поппе. И хотя уважаемый профессор занимался изучением сибирских языков давно и плодотворно, в дискуссии, которая завязалась после лекции, верх взял Кошкин.

Ян Петрович возглавил научно-исследовательскую ассоциацию. Это, безусловно, была самая подходящая фигура для грандиозного и тонкого дела «языкового строительства» (термин Кошкина).

Единый северный алфавит (ЕСА) был принят 29 октября 1929 года на заседании комиссии национальных округов и культур Северного факультета. Научно-исследовательская ассоциация доработала и уточнила его, и этот уточненный вариант уже был готов к декабрю 1930 года. Научным советом при Всесоюзном центральном комитете нового алфавита ЕСА был утвержден в феврале 1931 года, а в мае — сектором науки Наркомпроса РСФСР. Через год последовало последнее утверждение — Президиумом ВЦК нового алфавита. В том же 1932 году постановлением Совнаркома утверждается Комитет нового алфавита народов Севера. Его поручено возглавить директору ИНСа Я. П. Кошкину. Членами Комитета были В. Г. Богораз, аспирант научно-исследовательской ассоциации ненец из Большеземельской тундры Антон Пырерка, ученый секретарь НИА Н. К. Каргер и другие. Задачей Комитета являлось внедрение в школьную практику и повседневную жизнь нового алфавита, письменности. Огромное значение для судеб этой письменности имела первая Всероссийская конференция по развитию языков и письменности народов Севера, которая проводилась в стенах ИНСа в самом начале 1932 года.

«Конференция, — как отмечалось уже через несколько месяцев после ее проведения, — сыграла историческую роль, так как на ней получила окон-

чательное подтверждение возможность создания национально-литературных языков Севера, были разработаны основные принципы построения терминологии и орфографии северных национально-литературных языков, утвержден алфавит народов Севера — следовательно, был подведен итог всей работы по созданию письменности народов Севера и намечены основные пути ее дальнейшего развития». На конференции было прямо заявлено, что «уже в 1933 году не будет бесписьменных народов Севера».

К этому времени специалистами под руководством Кошкина были созданы проекты четырнадцати национальных литературных языков. Свой алфавит получали: самоеды (ненцы), лопари (саамы), вогулы (манси), остяки (ханты), остяко-самоеды (селькупы), енисейские остяки (кеты), тунгусы (эвенки), ламуты (эвены), гольды (нанайцы), луораветланы (чукчи), намыланы (коряки), гилаки (нивхи), юиты (эскимосы), удэга.

В рапорте научно-исследовательской ассоциации ИНСа ЦК ВКП(б) и Советскому правительству говорилось:

«За один 1932 год сделано по созданию письменности народов Севера во много раз больше, чем за несколько сотен лет до Октября!»

Кошкину принадлежала плодотворная идея привлечь к созданию алфавитов самих представителей тех народностей и племен, которые получали письменность. На местах это были партийные и советские работники, а в Ленинграде — студенты ИНСа.

Наверное, следует считать символичным, что первый северный букварь был создан представителем малой национальности. Его автор — Петр Ефимович Хатанзеев, приобский ненец, выросший среди хантов. Судьба его своеобразна, было в ней немало драматического, но советская действительность да-

рвала ему высокое право сознавать себя просветителем народа, который он считал родным. Сын бедняка, сирота, он был обречен на полуголодное существование, но редкая счастливая случайность вывела его в люди. Смышленного мальчугана заметили миссионеры, они привели его к настоятелю Обдорской миссии отцу Иринарху — человеку высокой культуры, широкого кругозора и энергичного, редкого в поповской среде просветительского энтузиазма. Благодаря Иринарховой заботе Петр не только закончил школу в Обдорске, но и был отправлен в Тобольск, в церковноприходскую школу, аттестат которой давал право на преподавание. Но здесь Хатанзеев проучился всего два года — скудный церковный кошт не был рассчитан на просвещение «инородцев».

Свет, мелькнувший впереди для грамотного ненца, снова погас. Хатанзееву пришлось, чтобы как-то прокормить себя и помогать семье, заниматься к богатым рыбопромышленникам и оленеводам, торговать в лавках у местных купцов.

Только после революции вспомнили, что есть в Обдорске грамотный «инородец». Петра Ефимовича подучили, и он стал членом учительского союза. Для начала его послали организовывать школу в небольшой рыболовецкий поселок «У семи лиственниц», где жили ханты и коми. Школа-класс ютилась в избушке бедного рыбака — более приспособленного здания в становище не нашлось. Гремела посудой хозяйка, кричали малые ребятишки, порой шумел подвыпивший хозяин, а учитель терпеливо втолковывал своим немногочисленным слушателям начатки азбуки и счета. Потом была такая же маленькая деревушка — Собские юрты.

Незадолго до революции в юртах побывал русский учитель В. Н. Новицкий. Он намеревался создать здесь школу, но попытка закончилась неудач-

но. Докладывая об этом начальству, Новицкий приводил для наглядности аргументы северян:

— Мы знаем, что нас остается все меньше и меньше. Вам, русским, суждено жить, нам — вымирать. Вам грамота полезна, а нам вредна: она делает из нас воров, пьяниц, она воспитывает вражду, ненависть наших грамотных к нам — мы это испытали. Некоторые наши инородцы учились в вашей школе в Обдорске. Оставьте нас в покое, не трогайте нас.

Слова эти свидетельствовали о той темноте, которая царила в умах коренных северян. Немногие из них понимали, что несет им грамотность. Основная же масса считала, что учение, как и прочая русская «цивилизация», кроме пьянства, нищеты, разложения, ничего не принесет.

Но то, что не удалось Новицкому, сумел сделать молодой советский учитель — в 1921 году он открыл школу в юртах, которые расположились на крутом берегу прозрачно-чистой полярноуральской реки Собь. Здесь Петр Ефимович создал свой первый и, может быть, самый оригинальный букварь — он где-то раздобыл типографские литеры и на обойной бумаге вместе со школьниками отпечатал несколько учебников.

Через несколько лет он, со своим неоконченным церковноприходским, становится «учителем учителей». Его командировали в Тобольск, где в педтехникуме требовался преподаватель ненецкого, хантыйского и коми языков. А когда в Ленинграде начали «ковать кадры» для Севера, отправился на невские берега и Петр Ефимович. В Институте народов Севера, где средний возраст студентов выходил за рамки комсомольского, Хатанзеев был одним из самых старых: он уже заканчивал четвертый десяток. Но энергии ему было не занимать. В 1930 году

Центроиздат выпустил его «Ханты книгу» — первый изданный в Москве северный букварь.

Первый опыт, как и всякий «первый блин», оказался не совсем удачным. В хантыйский алфавит Хатадзе без изменения перенес графические особенности русского языка. Кошкин также считал существенным недостатком то, что букварь был составлен на основе обдорского диалекта — одного из самых малораспространенных, что, по мнению директора ИНСа, «в значительной степени суживает поле его применения». Однако это была та первая ласточка, которая, вопреки пословице, делает весну.

Позднее, в 1955 году Хатадзе выпустил в Ленинграде «Букварь для подготовительного класса на языке шурышкарских ханты». Это был более распространенный диалект (сейчас существует письменность на четырех наречиях хантыйского языка — вах-васюганском, сургутском, казымском, шурышкарском).

После получения диплома ИНСа Петр Ефимович работал в школах Ямала, преподавал в Салехардском национальном педагогическом училище, но в основном вел методическую работу, создавая пособия в помощь учителям начальных классов национальных школ. В числе первых северных педагогов ему было присвоено звание «Заслуженного учителя школы РСФСР».

В 1933 году в Учпедгизе вышел «Ханты букварь», автором которого был Нестор Константинович Каргер. После хатадзеевской неудачи в качестве основы хантыйской письменности было решено выбрать казымский диалект. Ученый секретарь НИА отправился на Казым. Вместе с ним ехал житель тамошних мест, студент ИНСа, в будущем партийный работник В. Алачев. В результате этой трудной поездки и появился созданный на строго науч-

ной основе, хорошо учитывающий требования времени букварь.

В истории хантыйского языка и до революции бывали попытки создания письменности. Занимались этим преимущественно миссионеры, ревностно старавшиеся донести слово божье до заблудших душ тундровых язычников. Обдорский священник Иван Егоров в епархиальной типографии в Тобольске издал «Азбуку» хантыйского языка. Другой просветитель в рясе, Федор Тверитин, перевел ее на вахвасюганский диалект. Служитель Обдорской инородческой миссии Лука Вологодский перевел на хантыйский язык отрывки из «Евангелия от Матфея». Они даже были изданы в Венгрии, но научный уровень всех этих лингвистических опытов священнослужителей был весьма низок. Впрочем, даже не это помешало распространению грамотности среди приобских рыбаков и охотников. Просветительская деятельность дореволюционных энтузиастов не получала распространения совсем по другой причине — чиновникам, урядникам и купцам грамотные «инородцы» не требовались. Это требование выдвинула новая власть.

С Каргером произошел уникальный в науке случай: он — единственный среди коллег-современников, да и, пожалуй, вообще среди лингвистов, кому выпала задача создавать две письменности, два букваря, кроме хантыйского это был еще и кетский. Если говорить точнее — Нестору Константиновичу пришлось их создавать. Конечно, такая личность не может не привлечь внимания.

Каргер окончил факультет общественных наук в университете, но его постоянно видели в семинаре у известного языковеда Л. В. Щербы. Позднее Л. Я. Штернберг пригласил Каргера на должность ассистента этнографического отделения. Именно Лев

Яковлевич организовал для Каргера экспедицию к амурским гольдам от Комиссии по изучению племенного состава СССР и сопредельных стран. Около года Нестор Константинович вместе со своим однокашником Иосифом Козьминским работал у нанайцев. Его статья об этой экспедиции вышла уже после смерти Штернберга, в сборнике, посвященном его памяти: «Весь сборник представляет развитие научных идей и практических приемов исследования, завещанных Л. Я. Штернбергом его ученикам».

На ученика Штернберга обратил внимание Кошкин, который подыскивал кандидатуру на должность ученого секретаря научно-исследовательской ассоциации ИНСа. Нестор Константинович для этой роли подходил безукоризненно: он был, что называется, аристократически вышколен, внимателен, предупредителен, всегда ровен, умел великолепно держать себя с людьми и удерживать в равновесии самые разные темпераменты. Кошкин был мастер подбирать талантливых людей на ключевые должности.

В подходе к работе этнографа Каргер полностью солидаризировался с директором ИНСа: «Необходима самая тесная связь в повседневной работе этнографических учреждений с учреждениями, проводящими практическую работу на Севере. Изолированная, оторванная от вопросов строительства работа научных учреждений в наше время... нецелесообразна».

В статье «Очередные задачи этнографии на Севере» ученый секретарь НИИ ИНСа писал: «Работа советского этнографа на Севере не может ограничиваться только констатированием той или иной формы классового расслоения в изучаемом им районе. Необходимо также участие этнографов и в выработке методов и форм борьбы с классово чуждыми элементами. Здесь значительную роль играют не только

меры экономического порядка, но и формы административного воздействия».

Он настойчиво повторял и доказывал эту весьма актуальнейшую тогда мысль:

«В наше время... этнограф не может и не должен оставаться в стороне от повседневной практической работы. Тем же, кто опасается, что за будничной работой можно забыть об общих теоретических проблемах, можно указать, что Север с его первобытным туземным населением, переустраивающим свою жизнь на социалистических началах, представляет невиданную социологическую лабораторию, где повседневная практика проверяет самые смелые теоретические построения».

В ИНСе он занялся кетским языком, потому что и в институте, и в Ленинграде, да и вообще в стране, не было ни одного специалиста в области кетского языкознания. А ведь и для этого народа необходимо было создавать письменность.

Каргер, познакомившись со студентами-кетами, написал блестящую статью об их языке, о которой не преминул восторженно отозваться Богораз. Для того чтобы создать букварь, Каргеру пришлось целый год провести на Нижнем Енисее, в районе расселения этой небольшой народности. Из этой годовой командировки он привез не только букварь, но и научную грамматику кетского языка — одного из самых загадочных языков Сибири. Появление статьи — она была опубликована в 1934 году в третьей книге сборника «Языки и письменность народов Севера» — назвали «событием в науке». Продолжая исследования, начатые Кастреном, Каргер впервые доказал наличие в этом языке категорий рода, ввел в лингвистику не известные науке факты кетского языка.

Кетский букварь Нестор Константинович разра-

ботал на основе главного кетского диалекта — нижнеимбатского.

Единый северный алфавит, принятый на Первой конференции, включал в себя 39 букв, из которых 26 произносились приблизительно так же, как и соответствующие русские графемы. Остальные учитывали особенности говоров. Количество букв в конкретных языках было различным. Так, в ненецком насчитывалось 25 графем, в селькупском — 28, мансийский насчитывал 21 букву, хантыйский — 26. Самым графически богатым был саамский язык — 32 буквы, почти столько же, сколько в русской азбуке. Г. Н. Прокофьевым к ЕСА была составлена пояснительная записка, в которой раскрывались все особенности произношения.

Резолюция конференции, касающаяся программ школьной грамматики, была не просто конкретной, конструктивной, но и чрезвычайно гибкой, учитывающей все сложности овладения грамотностью ранее бесписьменными народами — здесь чувствовалась рука практиков, таких, как Прокофьевы, Крейнович, Орлова, Стебницкий и других, которые долго работали в национальных школах. «Программа, — писали они, — должна обеспечить систему знаний и навыков, грамотности в широком смысле слова и вместе с тем должна обслуживать развитие языка в общественной деятельности учащихся. Школьную грамматику на первых этапах обучения не нужно загружать грамматическими правилами, она должна охватывать самое необходимое для усвоения языка, но на этом необходимом должно быть выявлено и осмыслено все существенное для грамматики данного языка».

Столь же гибко оценивалась и роль орфографии: «Чтобы максимально облегчить овладение грамотностью и обеспечить участие трудящихся масс дан-

ной национальности в языковом строительстве, необходимо сделать орфографию наивозможно простой, общедоступной, близкой к нормам создающейся литературной устной речи и учитывающей структурные особенности каждого данного языка».

Важной задачей было создание новых терминов: ведь вместе с революцией в жизнь северян вошло много социальных, технических и других терминов. Тундровики и таежники впервые учились произносить слова: «совет», «большевик», «радио», «кино». В их жизнь входил самолет, пароход, автомобиль. «Создавая новые термины, — рекомендовала конференция, — нужно обратить в то же время внимание на уже имеющуюся терминологию с точки зрения ее использования, а также отсеивания и замены идеологически неприемлемых терминов». Именно в эти годы в ненецком языке появились «огненные лодки» — пароходы, «летающие нарты» — аэропланы, «огненные нарты» — паровозы.

Не все решения конференции принимались единогласно и единодушно. Как и в любом деле, новом и сложном, мнений высказывалось немало. Все они имели благородную основу: побыстрее приобщить отсталые в своем развитии народности Севера к передовой цивилизации. Однако в ходе конференции прослеживались различные уклоны. Ученые, не избавившиеся от пережитков великодержавного шовинизма, например, предлагали «укрепить и усилить проникновение русского языка к народам Севера, с тем чтобы этим была снята и сама национальная проблема Севера, и вместе с ней и вопрос о создании национальной письменности». Столь же шовинистически, но уже с другой стороны, звучали предложения об «якутизации», «бурятизации», «комизации» малых народностей.

Существовала теория, по которой следовало соз-

давать своеобразные языки-эсперанто, например, чукотско-корякский. Отпор на конференции получила и «теория Леонова», предлагавшая в качестве литературного языка использовать только русский.

«Языковое строительство» продолжалось и после конференции — на места отправлялись специальные экспедиции, которые уточняли детали, языковые нюансы, вносили исправления в уже существующие учебники. Особенно развернулась, с присущей Кошкину широтой, издательская деятельность. Главным «северным» издательством стал Учпедгиз, где работала специальная бригада по оформлению букварей и книг для маленьких северных школьников. Тиражи этих учебных пособий были невелики и потому убыточны, но предприимчивый директор ИНСа нашелся и здесь:

— Что вам стоит набросить какую-нибудь четверть копейки на учебник с миллионным тиражом. Так школьники всего Союза помогут сверстникам с Севера.

Столь же красочные издания — популярные книги популярных авторов в переводе на языки Севера — выпускал и Детгиз.

Кошкин сумел подключить к «северным мероприятиям» и Партиздат. Здесь на разных языках были изданы ленинские работы, популярные брошюры — «Что такое Советская власть?», «Что такое комсомол?», «Что такое оленеводческий совхоз?». Первую из них написал сам директор.

Конечно, не все шло гладко. Хотя на местах были созданы окружные комитеты нового алфавита, распространение и доставка литературы в глубинку были затруднены, иногда позарез нужные книги добирались на Север почти «пешком», шли не месяцами, а годами. Но книги все же доходили до тех, кто в них нуждался.

Своей ученице — Глафире Василевич — Кошкин помог создать первый букварь для эвенкийских школ. Это была изданная стеклографическим методом «Памятка тунгусам-отпускникам», розданная студентам, уезжавшим на ликбезработу. На алфавите, разработанном Яном Петровичем, была напечатана первая книга для чтения на эвенкийском языке, созданная Василевич.

Кошкин являлся членом редколлегии таких журналов, как «Советский Север», «Этнограф-исследователь», «Советская этнография». Ему принадлежит идея и осуществление трехтомной серии «Языки и письменность народов Севера» (он был ее редактором). Впервые около двух десятков языков северных и дальневосточных народностей получили исчерпывающие (по тем временам) грамматические описания. Сборники имели международный резонанс и во многом не потеряли своего значения и сегодня.

ИИС разрастался, он становился полноценным институтом в самом традиционном смысле этого слова. Сюда уже принимали грамотных аборигенов — прежде чем выдержать экзамен, северянин должен был пройти двухгодичный подготовительный курс, где осваивал русский язык и получал необходимые знания.

При всей сложности своей натуры Ян Петрович обладал одним замечательнейшим качеством: умел выявить в человеке главное, помочь ему раскрыться полностью. Поэтому в возглавляемом им институте царил атмосфера подлинной доброжелательности, содружества и творческого сотрудничества.

В Москве мне удалось встретиться с одним из славной когорты северных просветителей. Захарий Ефимович Червяков, долгое время работавший секретарем Богораза, — автор первого букваря на

саамском языке. В тридцатые годы он работал в ИПИНе, Институте по изучению народов СССР и одновременно преподавал в ИНСе: своего специалиста по саамскому языку там не было.

Меня встретил восьмидесятилетний, бодро держащийся старик. А свои воспоминания он начал так:

— Мы были тогда такими молодыми!

Эта фраза невольно заставила задуматься: а ведь действительно, серьезнейшее, ответственнейшее дело было поручено совсем молодым людям. Старшему из них — Прокофьеву — едва перевалило на четвертый десяток, Кошкин только отпраздновал свое тридцатилетие, а Юрий Крейнович, Валерий Чернецов, Сергей Стебницкий еще не вышли из комсомольского возраста.

— Это было особое время, — продолжал Захарий Ефимович, — мы были полны энтузиазма, и как-то незаметно, незримо образовалась тесная, дружная, единая семья. Мы работали в одной упряжке. Специально для тех, кто занимался составлением букварей и выработкой алфавита в ИНСе, был выделен день — понедельник, мы так его и называли «инсовский понедельник». В этот день мы непременно собирались на Обводном канале и с утра до вечера занимались, попеременно становясь то учителями, то учениками. К созданию букварей была подключена большая группа учащейся молодежи из коренного населения Севера. Мы учили их, а они знакомили нас с тонкостями родного языка. Разбиваясь по группам, устраивались по темноватым подвальным кабинетам и учились, спорили, творили. Заглянешь в дверь — там Вера Цинциус занимается со своими эвенками, Глафира Василевич — с эвенками, Георгий Николаевич Прокофьев — с большеземельскими ненцами, Павел Молл — с чукчами (этот талантливый северовед, к сожалению, очень рано погиб).

Поздно вечером комендант проходил по кабинетам и просил нас, как он вполне вежливо объяснял, «освободить помещение для уборки». Тогда мы шли шумной группой по Невскому, на проспекте у нас существовало давно облюбованное кафе, и за бутылкой «Адмиралтейского» здесь продолжалось обсуждение насущных педагогических и лингвистических задач.

Компания наша постоянно была в неполном составе — кто-то уезжал в долгую полевую экспедицию. Вспоминаю забавный случай. Я работал на Кольском полуострове, а Валерий Николаевич Чернецов где-то на Оби. И вот мне стали поступать письма на имя Чернецова. Я их не распечатывал, а аккуратно складывал, намереваясь отдать настоящему владельцу при встрече. Встречаемся, я протягиваю ему пачку писем. А он в ответ достает толстенный пакет... с письмами, адресованными мне. Оказывается, институтская секретарша перепутала наши фамилии, ничего удивительного нет — Чернецов и Черняков, — и корреспонденцию, поступающую на мое имя, отсылала на Обь Валерию Николаевичу, а мне слала письма, предназначенные ему. Конечно, писем в трудной экспедиции ждешь с особым нетерпением, поэтому мы с моим «однофамильцем» ей немного попеняли.

Впрочем, забавного в путешествиях на далекие окраины было мало, — добавляет Захарий Ефимович и, приговаривая: «сейчас я вам кое-что покажу», начинает искать на полках, заставленных старыми журналами и книгами. Он достает номер журнала «Этнограф-исследователь», который редактировал Богораз.

— Посмотрите там письмо, которое писал Юра Крейнович в Ленинград. Ему было всего двадцать лет, когда он уехал на Сахалин, где на реке Хаи-

дуза в селении Гайво был организован национальный интернат для нивхов.

Я вчитываюсь в строки письма, написанного в мае далекого 1927 года. Да, страшноватая картина.

«Слегли все школьники, и школа стала палатой для больных, — писал молодой сахалинский учитель. — По моим хлопотам принимают сюда и несколько человек взрослых больных. На нарах лежатся 37 больных. Стонут дети, а потом опять ночь, и первая смерть школьника у меня на глазах. Потом смерть маленькой пятилетней якутки Варвары.

Кажется, чего же больше, но нет, курилка еще жив и держится с повышенной температурой, составляет гиляцкий словарь и записывает легенды на наречии гиляков.

Поглядел на свое исхудалое тело и решил, что, пожалуй, умру. Вместо гроба я хотел бы просить о сожжении меня гиляками. Но тело мое не захотело подчиниться унынию, и я выжил».

Черняков смотрит на меня умными, ироничными глазами.

— Вам понятно, молодой человек, что приходилось делать в ваши годы моим сверстникам?

Да, за каждой, пемудреной вроде, книжкой букваря — человеческий и гражданский подвиг. Иногда — даже жизнь.

Тот, кто захочет сейчас посмотреть первые буквари для маленьких северян, столкнется с трудностью — их сложно достать даже в самых лучших книгохранилищах страны. Наверное, это закономерно: ведь эти книжки создавались не для библиотек, их ждали в далеких школах, ликбез тоже проводился на их основе. Эти буквари, говоря по-армейски, «служили срочную», а не стояли на почетных полках. Зачитанные до дыр, может быть, они где-то хранятся в бабушкиных сундуках. Собрать

бы их, устроить выставку. Какая была бы впечатляющая иллюстрация к событиям культурной революции на Севере!

Да, время было сложное. И путь советских «языковых строителей», как всякая дорога поисков, не мог быть безошибочно-прямым. Но они отдавали весь жар своего сердца, знания, энтузиазм тому делу, о котором хорошо сказал старый большевик Смидович:

— Приобщить к общечеловеческой культуре племена охотников и оленеводов, стоявших до того на ступени чуть ли не неолита, — какая это трудная, а вместе с тем и заманчивая задача!

Институт народов Севера просуществовал всего чуть более десяти лет (в первый год войны он был слит с государственным педагогическим институтом имени А. И. Герцена). Но в истории Советского Севера этот в общем-то небольшой временной отрезок — эпоха.

Январь сорок второго, пожалуй, был самым страшным месяцем в тяжелейшей летописи Ленинградской блокады. 28-го кто-то из сотрудников института этнографии зашел в подвальную (с началом бомбежек подвалы стали не только убежищем, но и самыми надежными рабочими кабинетами) комнату, где обычно занимался Георгий Николаевич Прокофьев. На столе стоял недопитый стакан жидкого чая, пиджак был брошен на спинку стула. Хозяин куда-то отлучился, вышел на минутку... Наверное, поэтому его не сразу бросились искать.

Нападение немецких фашистов для Прокофьева явилось особой трагедией. Ведь его мать — Матильда Леонтьевна — была внучкой известного немецкого поэта Йессена, маленький Гоша рос в атмосфере почитания великой



Глава

2

“ЮРЁ”

ГЕОРГИИ
ПРОКОФЬЕВ

немецкой культуры. Воспитанник известной в Петрограде гимназии «Питершуле», он даже дневники вел на немецком языке и на немецком же писал шпаргалки. Он не понимал, как немецкий народ мог подчиниться горстке безумцев, перечеркнувших все, что внесла в мировую культуру эта нация.

В первые дни войны старший научный сотрудник Ленинградского отделения института этнографии Академии наук СССР Прокофьев пришел в военкомат. По состоянию здоровья он был освобожден от армейской службы, но надеялся, что может пригодиться как переводчик. Ведь его берлинское произношение было безукоризненным. Но и переводчикам требовалось здоровье, а Георгий Николаевич страдал бронхиальной астмой. Заключение военных врачей было категорично: не годен. Ему отказали вежливо, но тоже категорично.

Что произошло в эти дни в душе строгого, педантичного и немного замкнутого сорокачетырехлетнего мужчины?

Те, кто пережил блокаду, утверждают, что определить очередного «смертника» не составляло труда. Уже и глаза блестели лихорадочным, предсмертным блеском, и улыбка больше походила на оскал, и было что-то во всем облике, что говорило: обречен.

Георгия Николаевича нашли в какой-то дальней комнатухе, служившей в мирные времена складом. Как будто он постеснялся умереть за рабочим столом.

Таковыми были последние дни ученого, которого еще при жизни считали крупнейшим специалистом в области изучения языка и быта самодийских народов.

...До революции ненцев, населяющих северное междуречье Оби и Енисея, называли «юраками». Некоторые исследователи связывали это имя с пере-

иначенным, трансформированным «югра». Прокофьев весьма аргументированно и убедительно доказал, что «более естественно», как он выражался, связывать это название с ненецким словом «юрё», которое переводится как «друг» и употребляется в качестве обращения.

Пожалуй, больше, чем кто-либо из исследователей, Георгий Николаевич заслужил, чтобы ненцы называли его юрё.

...В 1917 году девятнадцатилетний студент-юрист Георгий Прокофьев неожиданно бросает свой законоведческий факультет и переходит на историко-филологический в том же Петроградском университете. В течение четырех семестров он изучает языкознание. Но еще через два года — новый неожиданный поворот: Прокофьев переводится в Петроградский географический институт на отделение этнографии.

Студент он прилежный, несколько даже педант (в мать), трудолюбив, занятиями не манкирует. Чем же объяснить эти учебные зигзаги? Затянувшийся выбор профессии и места в жизни? Неумение выбрать главную цель?

Скорее, наоборот. Жена — Екатерина Дмитриевна — так сформулирует его метания того периода: «Он ищет истоки мышления в первобытности и приходит к языку. Позднее он привлекает к своим исследованиям и ранние религиозные представления северных народов, которые консервировали ранние представления о мире, человеке».

Еще в дневниках питершулевского гимназиста можно найти размышления о вопросах «отношения бытия в мире к сознанию, свободной воли, процесса и содержания мышления». В этих ранних философских исканиях чувствуется влияние матери, атмосфера классической гимназии. И судьба.

Петербургская знаменитость, профессор Раукерус, консультировавший Матильду Леонтьевну после того как Гоша перенес менингит, «приговорил» мальчика к покою, рекомендовал меньше нагрузок, спокойные прогулки.

Сестры Тамара, Мирра и Нелли, брат Коля, хотя в доме поддерживался чинный порядок, могли побеситься. А Гоша, лишенный живых игр, должен был заменить их книгами и живописью. Академик архитектуры и художник-маринист Николай Дмитриевич Прокофьев позволял сыну проводить время в своей мастерской, брал на этюды и водил по выставкам. Отцовская «Гибель «Варяга» была в те годы весьма популярна.

Когда пришла пора окончательного определения профессии, Георгий Николаевич отдал предпочтение этнографии, но увлечения живописью, рисунком он не терял до самых последних дней. В первую свою северную экспедицию он попал не в качестве этнографа, а в должности художника и привез в Петроград серию рисунков и акварелей. Эти листы на 38-й выставке Общества русских акварелистов соседствовали с работами известных мастеров — М. Авилова, В. Сварога, Альбера Бенуа.

Прокофьев отдавал предпочтение пейзажу. Его листы скромны, неброски, но выдают зоркий взгляд, точность руки. Прокофьевские пейзажи отличает некоторая элегичность в восприятии природы. Свой художнический дар Георгий Николаевич иногда использовал и в чисто прикладных целях. Им нарисована обложка богоразовского букваря — «Красной грамоты». Он иллюстрировал и свой ненецкий букварь, и селькупский «Красный путь», написанный Екатериной Дмитриевной.

Вторым большим увлечением Прокофьева была скрипка. В доме йессеновской внучки имелись весь-

ма редкие инструменты. Один из них, по свидетельству некоторых очевидцев, вероятнее всего — редкий Амати, доставшийся в наследство Георгию, сгорел в прокофьевском доме в Озерках, в первые дни гитлеровских налетов на Ленинград.

Другом юности Георгия Николаевича был Евгений Мравинский — в будущем прославленный советский дирижер, народный артист СССР. Он подтвердил:

— Георгий Николаевич играл почти профессионально. Не уйди он в науку, из него получился бы превосходный музыкант.

Евгений Александрович задумался, вспоминая:

— С Прокофьевым, хотя было это очень давно, больше полувека прошло, меня связывала самая большая дружба всей моей жизни. Мы жили рядом, много бродяжили. Он постоянно и неустанно рисовал, а я, как ни странно, собирал насекомых. Мы любили уходить далеко от города, в лес.

— У некоторых людей, знавших Георгия Николаевича, сложилось впечатление, что он был мрачноват.

— Ну что ж, он действительно был серьезен. Может быть, не по годам скуп на проявление чувств. Но — мрачноват? Нет. Внутри он был светел.

Пришло время, когда Прокофьеву уже не нужно было спешить к Казанскому собору, где рядом с кирхой Петра и Павла находилась его «Питершуле» с властными и много знающими учителями. Но к этому времени поиск жизненного предназначения еще не был завершен. Выбор юридического факультета — это, скорее всего, поиск пути к высшей справедливости.

Но, видимо, в юриспруденции он не нашел ответов на вопросы, которые мучили его. Союз с зако-

поведением был кратковремен, длился неполных два семестра. Затем настала очередь лингвистики.

Язык представлялся студенту Прокофьеву одним из путей, ведущих от конкретного к абстрактному, к познанию «содержания мышления».

Филологические семестры Прокофьева приходятся на самые трудные петроградские годы — семнадцатый — девятнадцатый, когда главным «содержанием мышления» разбуженных революцией петроградцев явно была не наука. Не только студенты, которых во все времена принято называть «вечно голодными», бедствовали в эти годы. Респектабельные профессора падали на лекциях в голодные обмороки. Однако нельзя сказать, что качество обучения стало низким. Два университетских курса оказались для Георгия Николаевича достаточной базой для позднейших исследований в области языка и «языкового строительства». Он всю жизнь пользовался репутацией блестящего лингвиста.

Причины неудовлетворенности в поисках жизненного назначения, наверное, не следует искать во внешних обстоятельствах. Эти прокофьевские метания — симптомы внутреннего духовного напряжения, цельной человеческой натуры, оставленной наедине с собой. В юности тот барьер, который ставит недуг, чувствуется особенно остро. Если здоровый человек больше связан с внешним миром, выражает себя в отношениях с другими людьми, то больной, обстоятельствами замкнутый в себе, вынужден и все резервы находить только в себе. Наверное, поэтому кризис переломного возраста был у Прокофьева столь затянувшимся и мучительным. Пожалуй, эти метания нельзя было сводить к элементарному: «Мне не нравится юриспруденция, мне не нравится языкознание». Шел не поиск профессии, а выбор пути, ведущего к истинному познанию мира.

Так или иначе, новый учебный семестр Георгий Прокофьев начинает на этнографическом факультете недавно созданного географического института и теперь уже ходит заниматься не на набережную Невы, а на набережную Мойки, где располагались учебные корпуса института.

Здесь мне хочется сделать отступление и рассказать историю, которую я услышал от Юрия Абрамовича Крейновича. Выдающийся исследователь языков народов Советского Дальнего Востока, просветитель этих народов, Крейнович в географический институт «перебежал» также из университета:

— Меня и Павла Молла, двух безусых комсомольцев, когда мы перебрались на этнографическое отделение, — вспоминает Юрий Абрамович, — поразило то, что в программе нет общественных дисциплин и хотя бы какого-то намека на марксизм. Расписание было загружено ботаникой, гистологией, геохимией, геологией — науками, естественно, полезными, но не главными для этнографа. А вот того, что позарез необходимо, не было. Мы пригласили Яна Петровича Кошкина из университета и на нашей партийной группе пересмотрели программу отделения. Цыплята стали учить куриц. Но атмосфера времени была такова, что мы не замечали, насколько смехом можем выглядеть. Кошкин — человек дела — повез составленную группой студентов программу в Москву. Кому бы вы думали? Заместителю Луначарского — историку М. Н. Покровскому. Удивительно, но Михаил Николаевич план утвердил. А наши профессора еще не знали, что существует созданная студентами учебная программа. Наше мнение, завизированное Покровским, нужно было доложить ректорату. В выбранную делегацию попали и мы с Моллом. Ректором был академик А. Е. Ферсман. За длинным столом рядом с ним сидит ака-

демик Л. С. Берг — будущий президент Географического общества, геолог Я. М. Эдельштейн, другие светила отечественной географии и геологии. И здесь появляются трое молокососов, которые заявляют, что они — делегация студентов этнографического отделения.

Александр Евгеньевич прервал заседание:

— Давайте узнаем у молодежи, что ей хочется нам сообщить.

Я вышел вперед и без предисловия сообщил, что мы недовольны, как нас учат. Программа нас не удовлетворяет, мы составили свой план, который уже утвердил Покровский.

Я еще говорил, но заметил, как у Ферсмана начала багроветь лысина. Но он дождался, пока я закончу.

— Вы слышали, — обратился он к своим коллегам, — что здесь сказали?

Все молчали.

— В обход меня, ректора, они утверждают программы в Москве. Я больше не ректор.

Он схватил портфель и выбежал из зала. Яков Михайлович Эдельштейн обратился к нам:

— Вы хотя бы понимаете, что наделали? Идите.

Мы вышли. Пыл, естественно, пропал. Мы были растеряны. Обратиться не к кому. Штернберг и Богораз — на международном конгрессе, а перед Ферсманом даже невозможно извиниться, он в институте не появляется. С нами стараются не разговаривать не только профессора, но и студенты. Так проходит неделя.

Но вдруг в вестибюле нас встречает Александр Евгеньевич, подходит, обнимает:

— Мы погорячились, теперь нам надо конструктивно поговорить, как наладить занятия на вашем отделении.

План, который мы составили вместе с Кошкиным, был принят. Приехавшие Штернберг и Богораз с ним согласились. В программу отныне включалось преподавание исторического и диалектического материализма, политической экономии, истории развития общественных форм, статистики, других социологических дисциплин. Впервые была включена археология. Начался курс «Введение в языкознание». Остались антропология, зоология, ботаника, геология и курс страноведения, который читал Берг. Нашему отделению был придан преимущественно общественный уклон, а этнография делалась наукой более активной. Исключительная заслуга в этой «комсомольской реформе» принадлежит Я. П. Кошкину.

Эта история произошла в институте незадолго до того, как туда перевелся Прокофьев.

Не сохранилось свидетельства о том, как он отнесся к Октябрьской революции. Наверное, отношение это было неоднозначно. Атмосфера, в которой рос Георгий Николаевич, и вся система воспитания, как семейного, так и гимназического, были проникнуты духом примирительного отношения к действительности. Он рос в интеллигентской, творческой, но все же буржуазной среде.

Перелом, по всей вероятности, произошел в стенах географического института — одного из первых советских по своей сути вузов. А Прокофьев принадлежит к первому поколению ученых социалистической формации, и вся деятельность его проникнута революционным духом, невозможным при каком-то другом строе.

В 1921 году Прокофьев познакомился с Рудольфом Лазаревичем Самойловичем, будущим «директором Арктики», как его все называли, а в ту пору бывший начальником Северной научно-промысловой экспедиции ВСНХ республики.

Идею этого большого предприятия горячо поддерживал председатель Совнаркома В. И. Ленин, уделявший большое внимание освоению северных окраин государства. ВСНХ считал экспедицию «ударным учреждением, имеющим важное общегосударственное значение».

На арктическом побережье от Мурмана до енисейского устья работали полевые подразделения этой огромной экспедиции. Начальнику Обского отряда потребовался квалифицированный художник, который мог бы зарисовывать все собранные на Нижней Оби интересные экспонаты, делать зарисовки местности. Самойлович порекомендовал Прокофьева: студент этноотделения мог пригодиться и в других качествах.

Об этом путешествии на север Западной Сибири известно немного, но, пожалуй, главное. Прокофьев после экспедиции напишет:

«Север сразу покорила своей природой и людьми».

Мальчик, сугубо домашнего и почти тепличного воспитания, вдруг вырвался на простор, из домашнего уюта попал в самые суровые условия, и, может быть, впервые к нему пришло ощущение полноценности, мысль и деяние впервые слились воедино. Жаль, что мы не располагаем какими-то документами самого Прокофьева об этой экспедиции. Ведь в ней — источник той увлеченности, с которой Георгий Николаевич отдался изучению Севера и народов, его населяющих.

За несколько месяцев путешествия будущий этнограф достаточно сносно овладел говором обских ненцев, настолько, чтобы в следующем семестре заняться сопоставлением нижнеобского и большеземельского диалектов и доказать их генетическое родство.

В экспедиции ему был поручен сбор изделий и

украшенный берегового и тундрового населения. По приезде в Петроград он сделал тщательную опись собранных экспонатов.

А в зале на Морской, 38 была организована небольшая выставка акварелей и рисунков «По Оби и во льдах Карского моря». Темноватый колорит листов не только отражал типичное состояние северной природы, но и являлся отголоском совсем еще недавних душевных настроений. «Заболев» Севером, Прокофьев излечился от той инертности, которая определяла стиль его жизни до поступления в Географический институт.

Он приоткрыл дверь и впустил внешний мир в себя. К концу жизни он снова несколько замкнется, это будет связано со сложностями конца тридцатых годов, но все двадцатые годы он проживет под знаком душевной открытости и распахнутости перед новым миром.

В институте Прокофьев познакомился с девятнадцатилетней Катей Боровковой, которая занималась в семинаре Л. Я. Штернберга. Катя — румяная русская красавица с толстой косой, почти в кустодиевском стиле, казалась полной противоположностью Георгию Николаевичу — весела до беззаботности, мечтательна, оптимистична и работяща: сказывалось разночинское воспитание. Мать ее, Елена Ивановна, была медсестрой в больнице Эрисмана, отец — агент страхового общества. Впрочем, его рано заменил отчим — врач.

Новые обряды тогда еще не прижились, к старым студенческая молодежь относилась с революционным скептицизмом. Пышной свадьбы молодожены устраивать не стали.

В конце 1924 года Прокофьевых прибыло: дочку-первенца назвали Лелькой. Екатерина Дмитриевна вынуждена была прекратить занятия в институте.

Георгию Николаевичу предстояло дипломироваться, и перед ним встала проблема выбора темы. Его тянуло на Сибирский Север, туда, где жили малоизвестные науке остяко-самоеды, енисейские остяки, тавгийцы, байшенские самоеды — «белое пятно» на этнографической карте Союза.

В Комитет Севера, членом президиума которого являлся учитель Прокофьева профессор В. Г. Богораз-Тан, пришел запрос из Енисейского наробраза. В Туруханск требовался педагог на место вышедшего учителя Журавского. Богораз сообщил об этом своему выпускнику. Прокофьев не раздумывая решил ехать на практику в Туруханск. Екатерина Дмитриевна ни за что не хотела оставаться в Ленинграде, хотя на руках у нее была восьмимесячная Лелька. Надо полагать, что энтузиазм жены радовал Георгия Николаевича. 29 июня в Географическом институте ему подписали командировочное удостоверение: «Гражданин Прокофьев Г. Н. прослушал курс по этнографическому факультету и командировается на производственную практику для сбора материалов для дипломной работы в Енисейскую губернию, в город Туруханск, с целью изучения быта енисейцев. Командировка действительна до 1 ноября сего (1925-го) года».

В кармане практиканта были и другие весомые рекомендательные письма, подписанные Председателем Комсода П. Г. Смидовичем, членом Комитета Севера Д. Е. Лаппо и, естественно, профессором Богоразом. Комсод просил Прокофьева изучить экономическое состояние енисейцев-кетов.

На поезде, а потом на пароходе вниз по могучему Енисею добиралась молодая семья до Новой Мангазеи, как в стародавние времена называли Туруханск.

Надо полагать, что ленинградцев поражала как

красота широкого сибирского приволья, так и убогость здешнего быта. Дальше к северу на берегах все реже попадались селения, и все реже в этих селах встречались добротные пятистенки. Все больше — развалюшки, хибарки, обветшавшие бараки под сереньким, сочащимся сыростью небом.

Георгий Николаевич, на правах северного ветерана, рассказывал молодой жене, что на Нижней Оби картина не менее удручающая. Но они были молоды и полны жажды деятельности.

«Это были наши лучшие годы, — будет вспоминать потом Екатерина Дмитриевна, — таков был подъем, увлечение работой, чувство первооткрывателей, чувство своей нужности, полезности, полная отдача своих сил».

Туруханск хотя официально и числился городом, но больше, чем на средних размеров деревню, не тянул. Гостиницей «город» все еще не обзавелся, не нашлось и двора для постоя, так что молодожены, пользуясь летним временем, с июня по сентябрь жили по-туристски — в палатке.

Школа «на угоре» располагалась в одной ограде с церковью главного здешнего святого — Василия Мангазейского. Архиерей, в юные лета прошедший медицинский курс, по совместительству заведовал больницей, отважно делал хирургические операции. Скоро Екатерине Дмитриевне пришлось обратиться к нему за помощью: у Лельки началась корь. Поп-хирург из-за отсутствия медикаментов лечил местными снадобьями, а больше — добрым словом.

В райисполкоме обрадовались приезду учителей из Питера. Вверх по Турухану на фактории Янов Стан образовали новый национальный район — Газовский, открывали школу-интернат. Требовался заведующий.

Прокофьев сориентировался по карте. Глухо-

мань. «Сердце» тазовского и енисейского между-
речья. Но для этнографа привлекательнейшее место.
Здесь в основном обитали остяко-самоеды. Но по-
являлись тунгусы, кеты, можно было встретить нен-
цев и энцев. Взаимные отношения, взаимные влия-
ния... Этнографическая целина.

Только безнадежно равнодушный мог отказаться
от столь соблазнительного предложения. Дела у
Мельки от доброго архиерейского слова пошли на
поправку, и Екатерина Дмитриевна не только не
возражала, наоборот — настаивала.

— В Янов Стан, в Янов Стан! — декламировала
она. Свои мысли тех дней Прокофьев выразил в
статье, которую отсылал в сборник «Этнография»:

«Предложенне я охотно принял, оно давало мне
возможность осуществить свою давнишнюю мечту —
заняться стационарным изучением первобытной
культуры северных народностей Сибири, в частности,
самоедов, которые в 1921 году сделались специаль-
ным предметом моего изучения».

5 сентября он подписал контракт на 3 года. На
Туруханской пристани секретарь нового РИКа
Ф. Головатов формировал речной караван. Секре-
тарь ехал с семьей: женой и взрослым сыном. Уда-
лось нанять илимку с крытой каютой — шедевр
местного судостроения, и пару долбленок для груза.
Своим попутчикам Головатов выделил нос илимки.
Проводник Егор обживал крышу. Теснота была
невозможная — ни пошевелинуться, ни встать. Под
крышу залезали только ползком. На носу дымила
буржуйка, которую Екатерина Дмитриевна разжи-
гала, чтобы приготовить горячее.

Тащили неуклюжую илимку лямщики — так име-
новали местных бурлаков. Только тогда, когда по
заросшему берегу не было возможности продраться
или — в редких случаях — позволяло течение, лям-

щники сядились на весла. До фактории было четыреста восемьдесят километров. Стояли последние дни сентября — по здешнему календарю — глубокая осень. Когда рано утром 23 сентября выезжали из Монастыря (у Туруханска было и такое имя), еще светило теплое солнышко и желтые березы напоминали о далеком, европейском бабьем лете. Но красные и желтые листья на реке быстро сменились «бляшками» льда: осень недолго демонстрировала свои прелести. Мокрыми лепешками повалил снег, и река зашуршала ледовым «салом».

Головатов забеспокоился: вырисовывалась грустная перспектива застрять здесь, на полпути до жилья, и дожидаться зимника. Бывалые лямщики быстро сделали парус, но и он не особенно помогал. Только Егор был невозмутим и повторял:

— Нарочно, нарочно. Она шла нарочно.

Это он говорил о шуге.

Но пророчество, в которое никто не верил, все же сбылось. Снова выглянуло солнце и быстро растопило смерзшийся снег. Лямщиков погонять не приходилось, ведь им еще предстояло возвращаться назад.

15 октября на фоне глухой и темной стены тайги показались домики Янова Стана. Черны, приземисты, они далеко отстояли друг от друга. Насчитали их всего шесть. Выделялось недавно срубленное здание для райисполкома.

На берег высыпало все немногочисленное население фактории. Впереди группы людей стоял невысокий селькуп — Захар Николаевич Безруких, главное пока здешнее начальство, председатель общества потребителей. По яновстановским масштабам, прибытие каравана было большим событием. Население фактории увеличивалось почти в полтора раза. Селькупы вежливо ощупывали гостей и осо-

бенно удивлялись Лельке. С детьми сюда еще ни один русский не приезжал.

Безруких показал учительские апартаменты: жилье, по здешним меркам, вполне «на уровне». Да уровень слишком уж убог: клетушка в четыре шага длиной и три — шириной должна стать для них и спальней, и кухней, и столовой, и рабочим кабинетом. Вместо кровати — топчан из горбылей.

В конце жизни Екатерина Дмитриевна возьмется за мемуары, она назовет воспоминания «Мой роман». Но роман дальше нескольких страниц не прошел. Все эти страницы посвящены яновстановскому житью.

«Я, к стыду своему, не выдержала и заплакала. Усталость от длительного переезда, от неснимаемой месяц одежды, страх перед перспективой жить в такой комнате три года, страх за Лельку — вот что вызвало эти слезы».

Избушка, высоко титулованная «школой-интернатом», имела всего две комнаты общей площадью 29 квадратных метров.

«Тьма, грязь и теснота», — отметит Екатерина Дмитриевна. Она не была, что называется, столичной барышней, но жила в достатке и из родного Петрограда никуда не выезжала. Первые часы в Яновом Стане, может быть, даже первые минуты должны были заставить молодую женщину пересмотреть свои взгляды на жизнь и человеческие ценности. Еще вчера она могла быть просто молодой, привлекательной, даже немного беспечной, фрондирующей своей смелостью (едет в глушь, на Север!). Сегодня, сейчас она должна стать хозяйкой, подвижницей. С грудным ребенком на руках. С больным мужем. С житейским багажом горожанки и столичными представлениями о жизни.

Лямщики еще угощались положенным возна-

граждением. Илимка в обратный путь еще не ушла...

Решение зависело только от Екатерины Дмитриевны...

Она присела на горбатый топчан и начала распаковывать вещи.

Катя Боровкова была любимой ученицей Штернберга. Бывший, как и Богораз, народоволец, он жил на Сахалине в невыносимых условиях царской каторги, но не растерял себя как личность. Каждый студент географического института знал об этом. На календаре к тому же стоял год 1925, восьмой год революции. Всего пять лет тому назад на III съезде РКСМ В. И. Ленин сказал, обращаясь к делегатам: «Вы знаете, что в стране безграмотной построить коммунистическое общество нельзя». Убежденность в этом, стремление принять участие в историческом деле в первую очередь повлияли на решение Прокофьевых остаться в Яновом Стане.

Новым яновстановским обитателям предстояло оглядеться. Да, выглядит районная столица неважно. Домами шесть жилых построек никто не называет, стесняются. «Хибарки». Населяют их три русских семьи и шесть семей аборигенов.

Все население обширной волости составляют 235 семей. В основном это селькупы, приписанные к двум родам — Баишинскому и Тымско-Караконскому, эвенки Чапогирско-Панкагирского рода и тазовские юраки. Впрочем, пенцами, эвенками, селькупами их никто не называет. Они еще самоеды, тунгусы, остяко-самоеды.

Позднее, посылая свой первый научный отчет Богоразу, Георгий Николаевич точно охарактеризует этот настоящий заповедный уголок:

«Район этот для этнографа во многих отношениях является в высшей степени интересным. Он находится на стыке трех самостоятельных, обособлен-

ных друг от друга культур. С севера и с запада к нему прилегает обширная область, населенная самоедами-юраками (юраками тазовскими и юраками-хандаярами, живущими по Пуру, по-юратски — пяхасово). С юго-запада к нему примыкает район, населенный угро-остяками (в пределах Туруханского края угро-остяки живут по верхнему течению левого притока Таза — реке Толь-кы и в районе Чертова озера). С юго-востока и востока, наконец, границей рассматриваемого района является Енисей с левым притоком Елогуй, по берегам которых живут енисейцы-кеты».

Председатель РИКа, председатель туземного общества потребителей и заведующий интернатом ведут первый набор школьников. В конце концов удается собрать девять юношей. Публика разношерстная. Иным учащимся уже за двадцать, другие годятся им в сыновья. Преобладают селькуны, есть эвенки и ненцы. У школы-интерната нет программы, у заведующего — педагогического образования или хотя бы опыта.

А Екатерина Дмитриевна решительно осваивает северный быт. Главная проблема — тепло. Печка — простая железная буржуйка, — когда ее топишь, раскаляется добела, в комнатунке тропическая атмосфера, температура градусов за тридцать. Но за ночь климат резко менялся — просыпалась семья уже при минус 12. Чтобы не простудить дочку, приходилось у этого непостоянного очага устраивать ночные бдения. Сеной у халупки не было, дверь выходила прямо в тайгу, лишь ее открывали — холодное облако заполняло крохотную комнату.

Буржуйка была прожорлива и ненасытна, а ведь Георгию Николаевичу (с его-то здоровьем) нельзя было ни пилить, ни колоть дрова. Екатерине Дмитриевне пришлось осваивать и это дело. Она научи-

лась сама выпекать хлебы, вязала веники, носила воду из речки. Вода в ведре за ночь промерзала до дна, и нужно было пристраивать ведро над буржуйкой, чтобы устроить стирку или помыть полы.

Риковский конюх соорудил для Лельки кроватку. Мать закутывала дочку во все, что только можно было употребить для этой цели, ведь по утрам из-под кровати приходилось выметать целый сугроб снега. Георгий Николаевич по утрам не мог подняться: его густая шевелюра пристывала к стене.

Наступала полярная ночь, а керосин для лампы-десятилинейки следовало расходовать экономно.

Но выпадали у молодой мамы и радости: пошла Лелька, потом перестала лепетать — заговорила.

Учителям подарили тунгусскую лайку. Рагдай выглядел настоящим волком. Екатерина Дмитриевна любила ходить с ним в лес, не опасаясь встреч с медведем.

Покой, радость, благоговейный восторг от тишины, шелест собственного дыхания, тихонько поскрипывающий снег, строй елей, лиственниц, кедров. Она была восторженна, и ничто не могло убить в ней этой душевной приподнятости — ни Лелькины болезни, ни ненасытная печь, стирки.

Семидесятипятiletняя, она вспоминала полярные сияния, лунную тишину и гало, которое ей удалось увидеть, и которое сосед-селькуп определил так: «Солнце надело рукавицы и шапку».

Георгий Николаевич пропал в интернате. Разместить столы, парты и кровати оказалось невозможным, пришлось по стенам устраивать двух-, даже трехэтажные нары. Однако ученики, привыкшие спать в своих чумах на полу, с опаской влезали на эти «лабазы», убедить их занять «верхний эшелон» всегда стоило большого труда.

Ни один из школьников русского языка не знал.

Газовский диалект ненецкого отличался от того, которым немного владел Прокофьев. В условиях вот такой языковой «глухоты» нужно было искать пути взаимопонимания, налаживать дисциплину и обучать грамоте.

Только необычайная способность молодого учителя к восприятию языков позволила намного сократить «нулевой цикл». Все-таки его ненецкий был небольшой, но зацепкой. А маленькие таежники, как правило, язык соседей знали. Через своих юных переводчиков Георгий Николаевич вскоре овладел основами селькупского и эвенкийского.

Преодолев языковой барьер, заведующий занялся следующей проблемой — созданием ученического коллектива. Учитывая резкие колебания в возрасте своих учеников, он пришел к выводу, что лучшим выходом в столь необычной обстановке будет самоуправление.

«После трехмесячной упорной работы в твердо намеченном направлении, — сообщал он Богоразу, — мне удалось достичь благоприятных результатов. К весне первого же года коллектив учащихся, не имевший вначале никакой определенной физиономии и существовавший лишь номинально, стал играть весьма видную роль в деле внутреннего распорядка школьной жизни. Коллективом был разработан и утвержден регламент, содержащий в себе правила по интернату. Отступление от того или иного правила каралось через посредство общего собрания, проходившего еженедельно по субботам. В качестве мер взыскания виновному назначалось, смотря по провинности, либо внеочередное дежурство, либо кладка дров, штрафной урок, рубка дров. В случаях незначительных дело ограничивалось товарищеским выговором».

«Верховной» властью интерната был школьный

совет, куда кроме Прокофьева входил секретарь исполкома и председатель кооператива. На первом году занятий совету пришлось вмешаться в школьную жизнь лишь однажды. Учащиеся, особенно старшие, свое пребывание в интернате расценивали весьма своеобразно. Георгий Николаевич называл такой подход «коммерческим»: молодые таежники считали, что они делают одолжение новой власти, а взамен от нее получают такие материальные блага, как питание и бесплатное обмундирование. Посещение уроков часто сопровождалось открытым торгом: ученик обещал свое присутствие за партой, если ему выдадут рубаху, или валенки, или полушубок.

Один двадцатидвухлетний первоклассник, получив отказ на очередное притязание, перестал посещать занятия. Вот тут-то и проявил власть школьный совет. «Забастовщик» был снят с довольствия. Три дня великовозрастный школьник крепился, а на четвертый пришел к заведующему с просьбой принять его снова в школу. Это была маленькая педагогическая победа.

«Он самым наглядным образом, — с удовольствием констатировал Прокофьев, — опроверг сам себе и своим товарищам убеждение, что своей учебной работой он делает одолжение местной администрации».

На следующий год совет поступит более жестко. На собрании говорили о провинившемся:

— Второй год сидит, ничего не делает, зря паек получает.

Двухнедельный исправительный срок не подействовал, и великовозрастного лоботряса исключили из школы.

Отпустив первый выпуск на каникулы, Георгий Николаевич превратился в прораба. Районо в Туруханске выделило средства, теперь школа и интернат могли разделиться: в одной комнате шли занятия,

в другой находилось общежитие и столовая. Располагал отныне интернат и кухней.

Занялся Прокофьев и своим жильем: отремонтировал наружную дверь, сделал проход в другую комнатку, которую Екатерина Дмитриевна приспособила под кухню. Стало просторнее и теплее. К первому сентября удалось собрать уже 14 школьников. Среди них были три девочки-селькунки.

Прокофьев поддерживал регулярную связь с Богоразом. Первое письмо написал в конце января, когда немного разделался с делами по интернату и мог чуть-чуть вздохнуть. Профессор, благословивший своего студента на январьстановское «сидение», мог быть доволен своим практикантом. Прокофьев сообщал в своих посланиях поразительные вещи. Например, о том, что в верховьях реки Таз жили «сятнадавы тунгу» — в буквальном переводе: «лицо расписанные тунгуевы». Их насчитывалось почти 70 семей. Татуировка сибирских эвенков связывала их с колымскими юкагирами и чукчами, которые также имели обыкновение татуировать лица.

В другом письме Георгий Николаевич подробно описывает антропологические типы эвенков и ненцев-юраков.

«Не могу не сознаться, что беседы с учениками на темы по географии и природоведению дают мне подчас громадное удовлетворение. — Это из письма от 14 ноября 1926 года. — В течение многих лет я тщетно искал в этнографической литературе то, что можно было бы назвать логическим основанием анимизма. Ни одна книга не может в этом отношении дать того, что дает личный опыт. Возьмем хотя бы основной вопрос анимизма — вопрос об одушевленности мертвой природы. Начнем с воды. «Вода, конечно, живая», — единогласно заявили молодые самоеды. — «А мы говорим, что вода — мертвая при-

рода». — Недоумение. — «А дерево, по-вашему, живая или мертвая природа?» — «Мертвая, конечно». — «А мы говорим, что дерево — природа живая». — Хохот. Недоумение. — «Ведь дерево не ходит».

«А камень живой или мертвый?» — «Живой, в нем огонь есть... И ветер живой, и солнце живое, и звезды, потому что все они движутся».

Что касается шаманства, то оно еще вполне живо. Но от русских оно спряталось, и встретить его можно лишь в более глухих уголках Тазовской тундры (Баиха, Худосея, Верхний Таз). На Худосее и теперь живет еще «великий шаман», прокалывающий себя ножом и проделывающий всякие иные фокусы».

В письмах в Ленинград — не только этнографические наблюдения, но и настроения, переживания.

«На многие недочеты приходится смотреть сквозь пальцы, учитывая положение вещей».

Коренное население совершенно не понимало коллективистского принципа Советской власти. Председатель РИК был для них «князем».

— Если князь мне скажет, что надо писаться, то я напишусь. — Поначалу грамота у местных жителей особым авторитетом не пользовалась. — А пока мне князь ничего не говорил, я писаться не буду.

Нужно думать, что увлекающийся, умеющий радоваться за своих учеников Богораз с удовольствием читал письма с далекой фактории.

Богораз позднее отзовется о прокофьевских письмах из Янова Стана:

— Сообщения Прокофьева равны открытиям.

А на 23-й Международный конгресс американистов в Нью-Йорке профессор возьмет доклад «Протоазиатские элементы в культуре остяко-самоедов», написанный при свете десятилинейки в тесном янов-становском жилище.

Летом 1927 года Прокофьев вынужден был по-

ехать в Ленинград: требовалось немедленное вмешательство квалифицированных врачей. Екатерина Дмитриевна его сопровождать не могла: была на последних неделях беременности.

В конце июня Георгий Николаевич появился в стенах родного института. «Он привез с собой обширные этнографические и лингвистические записи, — поспешит оповестить знакомых Богораз, — а также аппендицит, разыгравшийся на Севере, быть может, под воздействием силовитной животной пищи».

Объяснений о беременности Екатерины Дмитриевны профессор не принял и сообщал всем, что Прокофьев оставил жену «заложницей», чтобы обязательно вернуться в Янов Стан.

Журнал «Этнограф-исследователь» поместил заметку «Возвращение Г. Н. Прокофьева».

«27 июня Прокофьев сделал доклад на этнографическом отделении геофака в собрании студентов, ассистентов и окончивших. Научные материалы, привезенные Прокофьевым, весьма разнообразны и имеют значительную ценность. Многие из его сообщений имеют значение научных открытий — культура селькупов примыкает к культуре енисейских кетов. (Селькупы представляют вполне сохранившуюся тотемно-родовую организацию. Селькупы-оленоводы не знают пастушеской собаки.) Прокофьев собрал большой материал по остяко-самоедскому языку, в том числе словарь в шесть тысяч слов, который после надлежащей обработки будет напечатан в трудах Академии наук СССР».

Среди однокашников Прокофьев получил почетный титул «русского лесного человека» — рус-селькуп.

После операции Прокофьев возвращается на свою фабрику через столицу, где 2 августа он сделал доклад в бюро Комитета Севера о работе яновста-

новской школы-интерната и просил поддержки в организации клуба, читальни.

Комитет Севера развернулся оперативно. Вместе с заведующим на фабрику приехали строители — соорудить добротное школьное здание, полностью приспособленное для занятий. В новой школе были высокие потолки, большие окна с тройным остеклением и печи-голландки. За счет освободившегося помещения смог расширить свою жилплощадь и заведующий, семья которого росла: Екатерина Дмитриевна через несколько дней после его возвращения из столицы, 30 августа, родила сына Бориса.

Кроме средств на строительство Комитет выделил оборудование для столярной и слесарной мастерских, приборы для физического уголка, небольшую библиотечку. В Янов Стан привез эти сокровища учитель Б. Ф. Гжешкевич. В его багаже находился и подарок от Центрального Совета нацменьшинств — трехламповый радиоприемник. Северянин со стажем, Гжешкевич был страстным радиолюбителем. Он собственноручно, из подсобных материалов, а их имелось крайне мало, смонтировал усилитель, и уже осенью 1927 года впервые в глухой тазовской тайге раздались позывные далекой Москвы.

Сохранился фотоснимок, запечатлевший сей торжественный момент: у весьма громоздкого радио-сооружения молодой паренек с короткими усиками и в круглых очках — Гжешкевич. Три таежника в малицах с наушниками на голове внимательно слушают далекого диктора. Аборигены Янова Стана считали радио «граммофоном», а все мачты, по их мнению, ставились «даром», для декорации. Стоило большого труда хоть как-то объяснить принцип передачи радиоволн.

Перенесенная болезнь, новые хлопоты тяжело сказались на здоровье Георгия Николаевича. Сосед,

бывалый фельдшер Фильченко, ничем не мог помочь, и уже глубокой осенью, по зимнику, Екатерина Дмитриевна повезла мужа в Туруханск, где можно было рассчитывать хотя бы на хорошие лекарства.

Зима этого года ознаменовалась еще одним громким событием в тихой жизни фактории. Сюда 17 февраля пришла Гыданская экспедиция Академии наук, которую вел в Заполярье Б. Н. Городков. Ленинградцы от души наговорились. В составе экспедиции был и этнограф Л. В. Костиков, которого Прокофьевы знали по университету. (Позднее Георгий Николаевич напишет послесловие к большой работе экспедиционного этнографа «Боговы олени в религиозных верованиях хасово». Он критиковал выводы Костикова, что «институт зашаманенных оленей основан на тотемизме». В этом слышатся отголоски ожесточенных споров там, на Яповом Стане.)

Ученики Прокофьева не признали в ленинградских ученых русских. Они спрашивали своего учителя недоуменно:

— На каком языке говорят с тобой эти люди?

Объяснялось это просто: Прокофьев на первых порах, чтобы добиться взаимопонимания, вынужден был учитывать все особенности речи аборигенов, а русскую речь несколько упрощать, чтобы она была понятна и доступна каждому селькупу, пенцу, звенку.

На третьем году учебы число школьников уже перевалило за второй десяток. Структура усложнялась, появилась подготовительная группа. Для трех звеньев и двух селькупов-малышей занятия велись на их родном языке. В параллельной группе, где малыши знали русский, занятия шли на нем. Более сложным стало и самоуправление. Теперь каждая

национальность выдвигала своего старосту, который ведал всеми делами группы.

— Принцип самоопределения национальностей, — считал Прокофьев, — в аппарате самоуправления учащихся оказывается единственно приемлемым в нашей северной туземной школе... чтобы межплеменная вражда не обострялась, а, наоборот, изживалась.

Он не был педагогом по образованию, но учителем стал не только по воле капризного случая, а и по внутреннему позыву, дремавшему в этой сложной натуре. Едва ли не главным педагогическим его принципом была деликатность, которая сказывалась во всем: в уважительном отношении к национальным особенностям развития учеников, постоянном учете этой специфики, во внимании к тем сложностям, с которыми сталкивался впервые севший за парту охотник или оленевод.

«Лишь путем длительного изучения культуры и языка туземцев, — писал он, — мне удалось постепенно выработать правильный подход к моим ученикам».

Заведующий Яновстановским интернатом не стремился форсировать события: ведь опыта обучения детей северян практически не существовало — опыт рождался здесь, в результате его экспериментов.

«Опоздал к занятию. На пол плавал два раза. Курил во время занятия. Опоздал лечь спать 20 минут. Разбрасывал пимы и портянки. Не читал урок. Лезит траться кулаком Марфу».

Такие провинности числились за четырнадцатилетним Семеном Кусаминым.

«Во время занятия шаманил. Не слушает присидачея. Матерился худо один раз. Во время занятия обрызгал чернилом Лыпу. Валялся шуба на постель. Шумел ночью два раза и шаманил. Ругался пехорошо два раза. Грязными сапогами на койку лежит».

Эти нарушения порядка и дисциплины были замечены за тринадцатилетней Марфой Ялдыгир.

«Лицевой счет» вели председатель и секретарь школьного коллектива, лучшие ученики. Сегодняшний педагог наверняка пришел бы в ужас от подобной орфографии, а Георгий Николаевич откровенно радовался этим успехам. Успехам без кавычек. Ведь уже на второй год обучения в тазовской тайге, где на сотни верст не было ни одного грамотного селькуна, ненца или эвенка, появились первые девять обученных им парней.

Прокофьев тесно увязывал свои педагогические задачи с требованиями повседневной практики коренных северян. Школьники, разбитые на пять «артелей», занимались промыслом: ставили пасти на песцов, черканы на горностаю и силья на куропатку. Плоды этого промысла не просто обогащали школьное меню. Прокофьев твердо придерживался мнения о том, что «промысел туземца — это великая и сложная наука, обучаться которой с раннего детства должно так же упорно и длительно, как обучаются грамоте. Промыслу этому, со всеми его хитроумными мельчайшими деталями, туземный ребенок может обучиться лишь дома, под постоянным и длительным руководством своих опытных в этом деле сородичей».

Уже вернувшись в Ленинград, Георгий Николаевич ставил вопрос о перенесении сроков занятий в национальной школе. Учитывая пожелания родителей-промысловиков, он считал, что обучение должно вестись осенью и весной, с тем чтобы на промысловый сезон детей отпускать к родителям. Может быть, его гибкость, даже смелость в этом вопросе происходят из того, что для него не существовало тех аксиом, которые беспрекословно принимает дипломированный специалист.

Методика преподавания в северных национальных школах тогда еще лишь вырабатывалась, нахоженной дороги не существовало, нащупывались только тропинки. Одна из инструкций Министерства просвещения, дошедшая до Янова Стана, гласила:

«Система обучения и воспитания в туземной школе должна быть строго согласована с местными туземными обычаями, с укладом экономической жизни кочевого и охотничьего хозяйства без нарушения северных промыслов... Туземная школа должна давать только такого рода образование, которое не оторвет туземца от его хозяйственной обстановки, не отучит от обычной его трудовой промысловой деятельности».

Подготовке к практической деятельности в Янов-становской школе было подчинено все. Заведующий не стыдился «бюрократии» и учил воспитанников элементарному делопроизводству: любая работа требует умения обращаться с бумагами, а к кому как не к школьнику может обратиться неграмотный абориген.

Прокофьев в письменной форме обращался даже к собранию школьников и требовал ответа только на бумаге. Аккуратно велись журналы входящих и исходящих бумаг: стиль их и орфография, может быть, и не выдерживали критики, но смысл был ясен. Старшие школьники практиковались в «бумажной» деятельности в исполкоме, когда на фактории шло снабжение кочующих товарами. Прокофьев посылал самых деловитых на помощь приказчику-селькупу.

Работа в интернате выявила едва ли не самую главную черту в характере Прокофьева — его основательность. Дело, за которое брался, он уже не мог бросить. Педагогикой он занялся, пожалуй, неожиданно даже для себя, но работал столь увлеченно

и истово, что остался в истории северной национальной школы не как дилетант, а как основоположник. Об опыте Яновстановской школы рассказывала на одной из Всесоюзных конференций заместитель наркома просвещения Надежда Константиновна Крупская.

На далекой фактории в тазовской глухомани жизнь подсказала Прокофьеву идею, без осуществления которой немислима его биография как ученого. Учебники начали приходять в Янов Стан, когда Прокофьевы уже начали готовиться к отъезду. Это была книга для чтения «Наш Север» Н. Леонова и П. Островских, которую можно было использовать лишь в работе с отдельными учащимися, которые хорошо освоили русский. Поэтому Георгий Николаевич сам составил селькупский букварь, с помощью которого обучал чтению и письму тех, кто не владел русским.

«На материале своего родного языка ребята познают принципы грамоты,— писал он о своем рукописном букваре.— При этом с большим успехом и в широких размерах мною применялся метод сочетания обучения формальным навыкам со свободным рисованием. Ребята рисуют чрезвычайно охотно и проявляют подчас большие способности к графике. Вписывание в эти рисунки названий изображенных предметов, а иногда и объяснений к ним пользуется большим успехом».

Свою тетрадочку-букварь Прокофьев составил на основе русского алфавита, добавив недостающие графемы из латыни. Не встречающиеся в селькупском языке звуки Ж, Ф, Х, Ц, Щ он исключил из алфавита. Успех букваря был полным. Переход к чтению по-русски «совершался очень легко, и успех его всецело зависел от наличия достаточного запаса русских слов у учащихся».

Первый «официальный» букварь выйдет в 1930 году. Прокофьев никогда не домогался приоритета, но именно с его тетрадки начинается просветительское освоение северной целины.

Рукопись, вывезенная из Янова Стана, послужит основой и первого печатного селькупского букваря «Красный путь», автором которого стала Е. Д. Прокофьева. Молодая женщина в промежутках между хозяйственными делами, заботами о детях и муже, преподаванием в школе находила время, чтобы заниматься этнографией кетов и селькупов, о которых в науке имелись весьма отрывочные, противоречивые и порой явно неправдоподобные сведения. Как ни трудно было коренной петроградке привыкать к северному быту, она никогда не забывала о науке. Житейский ее подвиг я бы приравнял к деяниям столь заслуженно прославленных историей жен декабристов.

Прокофьевы — и он, и она — были педагогами, что называется, от природы. Даже трудно представить, с какими проблемами приходилось сталкиваться им в ежедневной учительской практике. И они — молодая ли это была смелость или отсутствие профессионального догматизма — самостоятельно разрабатывали методику преподавания различных предметов: ведь они обучали маленьких (и не таких уж маленьких!) северян не только грамоте, но и начаткам математики, обществоведения, географии. Особенно трудно усваивали в общем-то мышленные школьники абстрактные понятия и те истины, которые невозможно воспринять чувственно. Тут уже не помогали самые наглядные объяснения.

Георгий Николаевич кружил с глобусом вокруг свечи, демонстрируя, как вращается Земля вокруг Солнца, а в ответ слышал «неопровержимые» возражения:

— Если бы Земля вертелась вокруг себя, то дрова, которые лежат тут, у школы, тоже поворачивались бы, а они век стоят на одном месте!

По этому поводу Прокофьев позднее говорил:

— Весь склад мышления ненца, селькупа, эвенка должен претерпеть мутацию, подобную той, которая произошла в уме Коперника, когда он понял вращение Земли.

Коперник здесь помянут как раз в точку. Обитатели тазовской тайги, как впрочем и все другие племена северных российских окраин, жили еще в докоперниковом времени. Столетия царской власти ни на миллиметр не продвинули их на пути к сокровищнице познаний всего человечества.

Советским педагогам, в числе первых и были Прокофьевы, предстояло заставить вращаться Землю в сознании таежников и тундровиков.

Надо посмотреть на Янов Стан с высоты нашего времени, чтобы понять масштаб свершенного двумя «невольными педагогами»: в отдаленной и заброшенной школе-интернате, без учебников, в каждодневной борьбе с бытовыми неудобствами начиналось, впервые на Сибирском Севере, приобщение забытых и угнетенных народностей к социалистической цивилизации, делала первые шаги ликвидация вековой отсталости.

Педагогическая система, родившаяся в интернате Янова Стана, подразумевала не только обучение грамоте, но и прежде всего воспитание нравственной личности, человека, не только умеющего читать и писать, но и знающего, как превратить полученные знания в добро для людей. Воспитанники Прокофьевых были отягощены многими формами наследия весьма дурного свойства. Все еще оставалась и тлела (ведь с этим никто не боролся) межплеменная рознь: юрак мог мстить тунгусу, а тот в свою очередь —

остяко-самоеду. Торгашеским духом они были заражены основательно, совершенно не считали зазорным угнетать товарища победнее. Классный «лицевой счет» свидетельствует — неграмотно, но очень красноречиво — о том, что маленькие таежники могли «худо» ругаться, курить, шаманить, вести себя более чем нечистоплотно.

Со всем этим приходилось решительно бороться. Даже не бороться, слово это здесь не совсем уместно, изживать, прививать и воспитывать другие понятия, то есть действовать очень гибко, тактично, но настойчиво и последовательно. Свет грамотности рождал и новые социалистические отношения. В маленьком коллективе интерната, как в капле воды, можно было увидеть те великие процессы, которые происходили в эти годы на Сибирском Севере и во всей стране.

...13 июня 1928 года опытейший енисейский капитан Василий Васильевич Ильинский провел по Турухану к Янову Стану двухвинтовой буксир морского типа «Кооператор». Когда были отданы швартовы, капитан облегченно перекрестился: суеверность и решительность в нем хорошо уживались. Да и было отчего перекреститься: у здешнего берега впервые швартовался пароход, который путь от Монастыря до фактории одолел всего за трое суток.

Пока разгружается приведенная буксиром баржа с продуктами, а семейство Прокофьевых упаковывает чемоданы и баулы, взглянем прощально на факторию, давшую трехлетний приют ленинградским этнографам. На «Кооператоре» находился Григорий Рахманин, участник экспедиции Наркомата земледелия по обследованию охотничьих промыслов Туруханского края. Янов Стан он назвал «административным, просветительным, медицинским, ветеринарным, кооперативным и, наконец, просто более или

менее культурным центром беспредельной Тазовской тундры». Но в этом центре насчитывалось всего восемь зданий, причем «относительно прилично» выглядела только новая школа. Резиденция ветврача помещалась в хлеву. Коровий доктор жил через перегородку от своих пациенток.

«Живут, кажется, — с ироничностью столичного жителя добавлял Рахманин, — не особенно в большом согласии».

Ничто, кажется, не свидетельствовало о том, что в этой глухомани произошла культурная революция. Но время это выявит.

Все население фактории провожало учительскую семью. Наверное, Екатерина Дмитриевна, держа на руках годовалого Бобу и придерживая неумную Лельку, всплакнула, когда за последней речной излучиной пропали низкие домики на темном фоне тайги. Да и у отнюдь не сентиментального ее мужа запершило в горле: сколько пережито здесь всего — хорошего и плохого, сколько сделано. Впереди — Ленинград, большая работа.

Закончился их контракт с Туруханским районом, завершилась северная страница их биографии. И, добавим от себя, яркая страница в культурной революции на Сибирском Севере.

Еще из фактории Георгий Николаевич отправил в Ленинград статью «Остяко-самоеды Туруханского края». Сборник «Этнография», где было опубликовано его исследование о народе, среди которого ему пришлось жить три года, он читал, уже вернувшись в родной город. В статье он не просто обобщал свои первые впечатления. С полным основанием он мог говорить:

«В этнографической литературе нет ни одной работы, хоть сколько-нибудь освещающей рассматриваемый нами район».

К кому только не причисляли селькупов! То они оказывались кетами, то остяками, то самоедами. Прокофьев четко определил, что «вся культура остяко-самоедов во всех своих деталях резко отличается от культуры прочих самоедских родов». Свидетельств этому было немало: чрезвычайная первобытность селькупского оленеводства, ловля рыбы примитивными «заколами», бревенчатые жилища с каминочувалом из жердей, обмазанных глиной, не походили на легкие переносные ненецкие чумы, отличалась и одежда — если у ненцев она была глухой, то селькупы носили открытые спереди малицы.

Газовские селькупы делились на два рода: Орла половинный род и Кедровки половинный род. Хотя в начале двадцатого века тотемизм (почитание древнего «предка» рода — зверя-тотема) уже не был в особом почете, все же фольклорные данные свидетельствовали, что совсем еще недавно тотемные запреты были очень сильны. Человек рода Кедровки не мог убивать эту птицу — своего «брата». Орла называли «братом» все люди племени Орла. Этих птиц по-прежнему приручали, убивать их запрещалось в любых случаях.

Прокофьев — лингвистические его способности все более совершенствовались — сразу определил особенности селькупского языка, отличающие его от сходных говоров ненцев и энцев. Здесь же, на Тазу, когда по школьным делам ему пришлось задержаться на Сидоровской пристани, он впервые столкнулся с диалектами внутри самого селькупского языка. Позднее, в «Селькупской грамматике», он писал об этом эпизоде:

«Нам довелось встретиться в одном чуме с говором, по всем своим признакам являющимся характерным для тымского наречия. При выяснении конкретных условий, при которых «остров» тымского

наречия мог появиться и сохраниться почти в полной неприкосновенности в окружении тазовского наречия, обнаружилось, что хозяйка чума происходит из рода Медведя, проживающего на реке Тыме, и лет 25 тому назад была вывезена оттуда своим мужем — тазовским селькупом из рода Орла. Все дети (их было 6 человек) отличались особенностями произношения, характерными для матери, что вполне понятно, так как связь их с матерью в первоначальном (в основном, решающем) периоде формирования их речи теснее, чем связь с отцом».

Большим достоинством статьи, а ведь это была первая научная работа Прокофьева, являлось то, что он проследил связи селькупов с племенами-соседями. Иные из этих связей можно было заметить уже по фамилиям. Например, в фамилии Кондуков явствен корень «конда». Он соотносится с хантыйским «хонта», «хант». Таким образом, «Кондуков» обозначало не что иное, как «человек из рода хантов». Информационно богата и фамилия Мандаков, весьма распространенная среди селькупов. «Мандо» — один из энецких родов. Несомненно, что носители этой фамилии имели среди своих предков энцев.

Особенно тщательно проследил Прокофьев связи селькупов с кетами, как их раньше называли — енисейскими остяками. Еще Александр Кастрен указывал на «тесные культурные связи», существовавшие между этими народностями. Об этом рассказывали и селькупские предания, где кеты назывались братьями, и богатыри обоих племен боролись совместно против вражеских воинов.

Между женщинами и мужчинами, представляющими байшенских селькупов и кетов нижнеимбатского рода, часто заключались браки. Много общего было в материальном производстве, семейных отно-

шениях и религиозных верованиях этих небольших народностей.

Определение родства селькупов и кетов закладывало основы для выяснения происхождения (этногенеза) всех самодийских народов, что Георгий Николаевич считал основной своей задачей уже в годы яновстановского «сидения». Там, на фактории, незаметно, в будничных трудах и в решении повседневных проблем закладывался фундамент той научной постройки, которую собирался возводить молодой ученый.

К происхождению селькупов Прокофьев вернется, когда будет работать над «Селькупской грамматикой». Он предпшет этому сугубо лингвистическому труду небольшой вступительный очерк, по своей информативной емкости не уступающий иной пухлой монографии.

Консультантом будет Екатерина Дмитриевна. Она сделала изучение селькупов основой своей этнографической специализации и в 1932—1933 годах совершила две экспедиции в Нарымский край, чтобы по заданию Комитета нового алфавита народов Севера и научно-исследовательской ассоциации ИНСа изучить наречия и говоры нарымских селькупов. В первую экспедицию она исследовала тымское наречие, побывав в верховьях реки Тым, на Парабели, в низовьях Васюгана и других деревнях Каргасокского района. В верховьях и среднем течении реки Кети, по Оби в районе города Колпашева жили селькупы, говорившие на кетском наречии.

Всего Приполярная перепись 1927 года насчитала около пяти тысяч селькупов. Основная их масса, правда, мелкими группами, селилась в Нарымском крае и на Средней Оби. Около тысячи человек насчитывал Тымско-Караконский род, обживавший берега реки Таз. На Турухане, где селькупов назы-

вали баишенскими, жила компактная группа в полтысячи человек.

Когда возникла необходимость создания литературного языка для письменности селькупов, за основу из трех диалектов выбрали тазовский.

Выясняя древнюю родословную своих яновстановских соседей, Прокофьев искал подходы к намеченной цели, стремился «выяснить на основе детального изучения материала сложную, запутанную картину этногенеза самоедских племен».

Как же селькупы попали на Север? К какому из двух народов отнести остяко-самоедов? Ведь, хотя название и пишется через черточку, но народности весьма далеко отстоят друг от друга. Остяки — угорская языковая семья. Самоеды — самодийская ветвь на огромном древе человеческих языков.

Литература по селькупам насчитывала в те годы буквально единицы названий. Да и в трудах А. Кастрена, К. Доннера, П. Буцинского, В. Анучина, П. Островских сведения о племени из глухой тайги были не просто отрывочны, но и разноречивы. В Красноярском окружном архиве Прокофьев разыскал «Обыскную книгу ведения Енисейского делоправления Тазовской Николаевской церкви для описания брачующихся лиц и прочего повеленного в ней». «Обыскная книга» охватывала период с 1836 по 1859 год. Из ее содержания следовало, что тазовские селькупы регистрировались до 1854 года по двум волостям — Тымской и Караконской — Сургутского уезда, а в 1855 году они были объединены в единую Тымско-Караконскую «орду», управу.

Из этого Прокофьев сделал вывод, что переселение селькупов на Таз из более южного Сургута — «конкретный, зарегистрированный исторический факт». Но таких фактов было мало, разве что из «ясашных» книг можно было выудить известие, что

в 1625 году Тымская волость насчитывала 59 ясашных людей, а Караконская и того меньше — 20.

Таким образом, архивные данные и письменные свидетельства были столь незначительны, что историю селькупского народа нужно было искать не в бумагах. Что здесь могло помочь? Анализ языка и фольклорных данных, расшифровка самоназвания племени, привлечение археологических свидетельств и сопоставление всего этого материала с данными, полученными у народов-соседей, ибо процесс взаимовлияния и взаимопроникновения всегда настолько глубок, что без него многое остается непонятным. Все это, естественно, требовало широты кругозора. Но, кажется, профессор Богораз-Тан, которого такая широта всегда отличала, не ошибся в ученике.

Прежде всего Прокофьева привлекло самоназвание народа. «Куп» означает «человек». А вот первый корень-слог можно трактовать двойко: выводить его из слов «тайга» или «земля». Соответственно меняется и значение. Селькупа можно считать «лесным» или «земляным» человеком.

Прокофьев не захотел останавливаться на этом: племенное самоназвание — вещь слишком серьезная, чтобы им заниматься как простой фонемой. Из тонкого нюанса фонетических различий Прокофьев сделал вывод о двухкомпонентности селькупского народа:

«Гораздо правильнее допустить, что племя (или часть его), двойко осознающее свое самоназвание, является слиянием двух разноплеменных частей, пережитком чего и является двойкость самоназвания».

Комплекс лингвистических, этнографических и археологических исследований позволил Прокофьеву всего в нескольких строках изложить историю формирования селькупского языка, а значит, и народа:

«Происшедшие от скрещения «людей земли» (не «самоедского» начала) и «людей тайги» («самоедского» начала), селькупы в лице тымских чумылькупов и кетских суссекумов (диалектные самоназвания этих народностей.— А. О.) составляли некогда единое целое. Племя тазовских (в том числе и байхинских) селькупов является более поздним образованием, представляя собой комбинацию двух первоначальных племен».

Селькупский этногенез был важным звеном в той древней северной истории, которую стремился воссоздать Георгий Прокофьев. Но более важное место в этой истории принадлежало ненцам, тридцатитысячной народности, живущей на двух материках — в Европе и в Азии, от Печоры до Енисея. Хотя этот народ был более изучен, но все же недостаточно, и пренебрегать личной встречей с ним было бы явным упущением. Как всегда, язык, фольклор и этнография могли восполнить то, что казалось потерянным навсегда.

Поэтому через год после возвращения в Ленинград (он преподавал в это время в Институте народов Севера) Прокофьев на два сезона уезжает с женой в Большеземельскую тундру, имея при себе удостоверение заведующего Хаседахардской культбазой краеведения Комитета Севера. На Баренцевом побережье в это время организовывался первый национальный округ, и Прокофьевым приходилось заниматься научной работой попутно с просветительской.

Его записок о работе среди европейских ненцев не сохранилось, вероятнее всего, они стorerели в деревянном домике в Озерках. Но можно смело предположить, что условия жизни в европейской тундре немногим отличались от сурового быта таежной фактории. Как переносил их Георгий Николаевич? Он был в расцвете своих сил, и надо полагать, что болез-

невные напасти на время его покинули, по крайней мере дали ему передышку.

Снова год в Ленинграде — собранный материал надо обрабатывать, — и доцент педагогического института имени Герцена, заведующий северо-азиатским сектором Института по изучению народов СССР Прокофьев едет в большую зимнюю экспедицию на Таймыр. На его карте остался незакрытым только этот нижнеенисейский «кусочек», где селились едва ли не самые малочисленные северные народности — иганасаны и энцы. В этой своей большой последней экспедиции Георгий Николаевич участвует один: Екатерина Дмитриевна в Нарымском крае.

В 1933 году последнее «белое пятно» закрыто. Можно приступать в обобщениям и окончательным выводам.

Здесь мы несколько опередим хронологию и взглянем вперед, чтобы узнать, какими же были эти окончательные выводы исследователя Прокофьева.

23 апреля 1940 года заведующий кабинетом Сибири института этнографии АН СССР, старший сотрудник Г. Н. Прокофьев пишет заявление в Президиум Академии наук: «Прошу определить мне срок для работы над моей диссертацией (окончание) на тему «Самодийские языки и проблема происхождения современных ненцев, иганасанов, энцев и селькупов» — один год пребывания в качестве стипендиата-докторанта».

Прокофьев закончил свою диссертацию. Его ученица Людмила Васильева (Хомич) видела у профессора три больших папки, которые он как-то принес на лекцию. В тот день на ученом совете предстояло обсуждение его труда.

Наступало время защиты, но пришла война...

Когда от фашистской бомбы загорелся аккурат-

ный двухэтажный домик в Озерках, Прокофьевы были в институте. Они приехали уже на пепелище — ветер носил полуобгоревшие листы. Богатейшая библиотека с редчайшими изданиями по философии, этнографии, лингвистике погибла в огне. Сгорели и три толстых папки стипендиата-докторанта, главный труд прожитой жизни. Не это ли ускорило его кончину?

Это была не только личная драма Прокофьева. Ведь под фашистской бомбой погиб огромной ценности научный труд.

Всего богатства мыслей, заложенных в этой диссертации, нам уже не узнать никогда... Но все же основные положения этой работы известны.

Еще в апреле 1929 года Прокофьев был принят в члены Русского географического общества. Принимал его сам президент, Юлий Михайлович Шокальский. С дореволюционной профессорской церемонностью он писал: «Желая пользоваться просвещенным участием Вашим в трудах своих, РГО избрало Вас действительным членом, о чем и уведомляет Вас». 8 июня 1938 года действительный член РГО Г. Н. Прокофьев на заседании по вопросам этнографии и фольклора народов СССР сделал доклад об этногенезе народностей Обь-Енисейского бассейна. Основные положения этого доклада он позднее сформулировал в статье «Этногония народностей Обь-Енисейского бассейна (ненцев, иганасанов, энцев, селькупов, кетов, хантов и мансов¹)».

¹ Здесь и далее читатель встретит различия в написании терминов в авторском тексте и цитатах. В этнографию, лингвистику первых советских лет вводилось много новых понятий, терминология была не устоявшаяся, поэтому современное написание может существенно отличаться от принятого в те годы. Так, например, в современном языке название народности манси не склоняется.

28 мая 1940 года Прокофьев выступал на совещании комиссии по этногенезу, которое проводило в Ленинграде отделение истории и философии АН СССР. Тезисы этого доклада излагали основные концепции его докторской монографии. Диссертация состояла из четырех частей: «1. Введение. 2. Саяно-самодийский комплекс вопросов. 3. Приполярно-аборигенный комплекс вопросов. 4. Заключение.» Тезисы эти, 12 машинописных страничек, сохранились. Сохранился протокол обсуждения доклада в ОИФе. Работа был признана весьма ценной.

По этим трем сохранившимся трудам и можно реконструировать основные положения главного прокофьевского труда (очень важный его доклад «Принципы сравнительного анализа языков на материале самодийской языковой группы», прочитанный еще в 1934 году в научно-исследовательской ассоциации Института народов Севера, погиб в войну вместе с архивом ИНСа).

Задумываясь над тем, из чего родилась гипотеза Прокофьева, еще раз осознаешь, какую удивительную силу, какой огромный информационный потенциал содержит в себе простое слово человеческого языка. Иной раз оно оказывается для исследователя важнее и полезнее, чем крупный археологический памятник, тома древних манускриптов, письменные свидетельства ученых-очевидцев далеких эпох.

Правда, к исторической информации, заложенной в самом обычном слове, исследователь чаще всего прибегает тогда, когда других источников практически не существует.

Этногенезом самодийцев (термин «самодийцы» первым употребил Прокофьев, выведя его из ненецкого корня «самоди», означающего «человек», термин этот объединяет как живущие народы — ненцев, нганасан, селькупов, энцев, так и исчезнувшие —

коттов, карагасов, маторов, сойотов, камасинцев) русские ученые занялись довольно поздно. Лишь в конце восемнадцатого века появилась первая научная гипотеза, которая пыталась ответить на вопрос: всегда ли населяли Север эти племена. Автором гипотезы был историк Иоганн Фишер. По его версии, будущие северяне начинали свой путь к высоким широтам от Алтая и Саян. Фишер свое предположение особой аргументацией не обременил, ибо капитально этим вопросом не занимался. Тем не менее эту гипотезу поддержал Александр Кастрен, финский лингвист и путешественник, для которого исследование северных народностей стало делом жизни. Путешествуя по Сибири, он еще застал в живых представителей вымирающих саянских племен — камасинцев, коттов, маторов, сойотов. Не просто полиглот, а большой знаток языков, Кастрен быстро обнаружил родственность лексики далеко отстоящих друг от друга племен Саян и севера Сибири.

Так был обнаружен первый «мостик», по которому можно было совершить путешествие в глубь веков, пройти тем путем, которым прошли предки современных северян.

О Кастрене говорили, что он опередил своих последователей. Поистине так. Долгие десятилетия в науку о происхождении народов северной Сибири не было добавлено ничего сколь-нибудь значительного. Гипотеза Фишера — Кастрена (тире в данном случае является знаком, объединившим научную интуицию и кропотливейшие исследования) получила дальнейшее развитие именно в работах Прокофьева.

Основной посылкой прокофьевских исследований было предположение, что «приполярная часть Обь-Енисейского бассейна, еще задолго до проникновения туда самодийских и югорских племен, была за-

селена несамодийскими и неюгорскими племенами, с которыми и самодийские племена и югры, по мере своего проникновения на Север, вступали в теснейшее соприкосновение».

По мнению Прокофьева, побережье Полярного бассейна уже было заселено задолго до прихода туда как хантов и манси, представляющих угорскую ветвь, так и самодийцев.

Кто же были эти автохтоны¹ (остановимся на этом термине), как отыскать следы их существования, где? Прокофьев обнаружил эти следы в языках современных насельников² северной Сибири. Он видел некоторые недостатки «алтайской концепции» Кастрена, но считал, что эта концепция указывает единственно верный путь.

На примере исследований Прокофьева мы можем убедиться, насколько сложна и кропотлива работа этнографа, сколь тонким должен быть ум исследователя.

Георгий Николаевич реконструировал картину самого первого освоения арктических территорий, с достаточной степенью достоверности показал, как появились на Севере ненцы, ханты, селькупы, энцы, манси. Обобщенно это можно представить так.

Два-три тысячелетия назад нынешний Сибирский Север занимали охотники на морского зверя и дикого оленя — племя тья на востоке — очевидно, захватывая Таймыр, и племя куп, жившее ближе к Уральским горам. Оба склона Северного Урала занимали югры. Преобладающим типом жилья этих аборигенов была землянка, а типом хозяйства — промыслы: охотничий и рыболовный. В это время с юга

¹ Автохтоны (греч.) — первобытное население страны.

² Насельниками этнографы называют жителей конкретного поселения, стоянки.

под влиянием каких-то обстоятельств, вероятнее всего нападения соседей, на Север двинулись самодийские племена каса и туба. Другие племена самодийцев — маторы, котты, тайгинцы и другие — остались на родине — в Саянском нагорье.

Самодийцы — кочевники-скотоводы — оказались сильнее полярных автохтонов и покорили их, ассимилировали, вобрали в себя. Но главным «трофеем» победителей, пожалуй, оказался опыт приспособления к северным условиям, который уже накопили побежденные. Так скрестились две культуры и, выбрав лучшее, что имели те и другие, сумели приспособиться и выжить в столь тяжелых условиях, которые трудно найти где-то еще на нашей планете.

Прокофьев свой труд оценивал скромно:

«Я не могу не выразить надежды, что совместными усилиями наших ученых — этнографов-лингвистов, антропологов, археологов, фольклористов и историков — будет разрешена проблема этногонии¹ Обь-Енисейского бассейна, будет вписана страница в не написанную еще историю народностей, населяющих наш Крайний Север. Это будет, как мне думается, иметь не только научное значение, но явится в то же время большим культурным достижением для угнетенных в прошлом ненцев, нганасанов, селькупов и других народностей Крайнего Севера, которые в настоящее время, приобщившись к социалистической культуре передовых народов нашего Союза, проявляют большой интерес к знанию, в частности, к знанию прошлого своего народа».

У бесписьменных, забитых и угнетенных народов окраин Российской империи не существовало написанной истории, но это не означало, что ее не существовало совсем. Прокофьев, все мировоззрение кото-

¹ Сейчас более употребительно слово этногенез — происхождение народов. Этнос (греч.) — племя, народ.

рого было проникнуто историзмом, сознавал, как важна для любого народа его история. Ведь без прошлого народа нет. Первым советским этнографам и выпала задача, располагая небольшим материалом, восстанавливать этапы этой истории, по крохам реконструируя целое.

Четыре десятилетия, прошедшие со дня смерти Прокофьева, для науки — срок солидный. Этнографы, конечно, не стоят на месте, собирая и анализируя материал, чтобы разобраться в неписаной истории северных народов. Новые данные чем-то дополняют гипотезу Прокофьева, в чем-то вносят поправки. «Однако, — пишет современная исследовательница ненцев Л. В. Хомич, — многие положения прокофьевских изысканий сохраняют свое значение и в настоящее время». Это еще одно свидетельство того, что строго обоснованная научная версия проходит испытание временем.

Преобладающее внимание, которое в своих этнографических занятиях Прокофьев уделял лингвистическим исследованиям, подчеркнуто все в том же замечании Екатерины Дмитриевны: «Он ищет истоков мышления в первобытности и приходит к языку». Таким образом, язык для него был гораздо большим, чем просто средством расшифровки каких-то исторических событий и этнографических явлений. Но для истории и этнографии это давало поразительные результаты.

Тяга к лингвистике, видимо, объяснялась еще и складом ума. Студентом, по свидетельству жены, Прокофьев «считал, что, только найдя математически точные выражения своих понятий, гуманитарные науки станут настоящими науками».

По тем временам, что и говорить, дерзкие мечты. Но, видимо, эта математическая точность и притягивает внимание сегодняшних лингвистов, как оте-

чественных, так и зарубежных, к работам Прокофьева.

Чисто языковедческих работ у него немного. В 1931 году выходящий в Берлине лингвистический бюллетень «Венгерский ежегодник» опубликовал его «Материалы к исследованию остяко-самоедских языков. Тазовский диалект». Основные положения этого краткого очерка он разовьет в «Грамматике селькупского языка», вышедшей четыре года спустя. В сборнике «Памяти В. Г. Богораза» (1937 г.) публикует статью «К вопросу о переходном залоге в самоедских языках», которую сразу назовут блестящей. В этом же году выйдет первая книга, задуманная группой энтузиастов из Института народов Севера, трехтомной серии «Языки и письменность народов Севера». Прокофьев редактировал том «Языки и письменность самоедских и финно-угорских народов» и кроме этого поместил в сборнике четыре свои статьи: «Ненецкий (юрако-самоедский) язык», «Селькупский (остяко-самоедский) язык», «Нгансанский (тавгийский) диалект», «Энецкий (енисейско-самоедский) диалект».

Когда его называли «основоположником советского самоедоведения», прежде всего имели в виду эти работы: основа была заложена настолько прочная, что ее можно было только развивать.

В 1939 году в первом выпуске специального лингвистического сборника «Советский Север» была опубликована прокофьевская статья «Числительные в самодийских языках». Только один отрывок из этой работы:

«Данные, приведенные нами из области языковых параллелей, наблюдаемых в отношении современных самодийских языков и языков современных палеоазиатских народов, служат, как нам кажется, подтверждением того, что в процессе своего форми-

рования современные самодийские языки находились в соприкосновении с языками, причастными к формированию языков современных палеоазиатских народов».

Две работы Прокофьева остались неопубликованы. В библиотеке Ленинградского отделения института этнографии АН СССР хранится копия рукописи его «Краткой грамматики саамоедского¹ языка». Рукопись подготовлена к печати, автор даже поставил: «Л. 1934 г.», но по каким-то причинам она в свет не вышла. Основные материалы из нее Прокофьев использовал в «Самоучителе ненецкого языка», вышедшем в Учпедгизе в 1936 году.

В его издательских планах была большая работа «История изучения языков народов Севера», где он хотел объективно оценить труды предшественников и подвести итоги своей работы. Рукопись, вероятнее всего, погибла при пожаре или пропала в годы блокады. (Эту работу позднее выполнит его ученица Н. М. Пырерка-Терещенко в «Очерках истории изучения палеоазиатских и самодийских языков» (написанных совместно с И. С. Вдовиным.)

Прокофьеву, в соответствии со складом его на-

¹ Так в рукописи. Термин «самоед», как раньше называли ненцев, разные исследователи выводили из различных корней. Были совершенно вульгарные толкования, типа «сёмгоед». Находили, что термин указывает на каннибальство среди ненцев, поедание самих себя. Сученым видом толковалось о социальном одиночестве кочевников: «сам-един». Сейчас превалирует точка зрения, что «самоед» трансформированный или русифицированный вариант слова «саама-едне», переводящееся как «земля саамов» и указывающее на исторический факт, что территории, на которых проживают современные ненцы, некогда занимались саамами. «Описка» в рукописи указывает, что Прокофьев придерживался именно этой версии. Термин «самодийцы» он тогда еще не употреблял, а термином «самоедский» был явно недоволен.

туры, пожалуй, больше бы подходила роль кабинетного ученого, предпочитающего работать вдали от людской сутолоки, в книжной тиши, приходящего к неопровержимым логическим выводам, гармония которых выверена строгими правилами математической точности.

Но обстоятельствами послереволюционного времени он был вытолкнут (кажется, глагол этот здесь вполне уместен) в гущу событий, которые также назовут революцией, только культурной.

Из восьми лет после окончания института в Ленинграде он не пробыл и трех. Казалось бы, времени зарабатывать научный авторитет практически не было. В 1928 году из Янова Стана прибывает просто студент-практикант. А через два года он уже доцент Герценовского педвуза и заведующий сектором в ИПИИне (Институт по изучению народов СССР). Авторитет ему приносят не только трудные и затяжные экспедиции (они в обычае этнографов тех лет), а прежде всего результаты, которые он привозит с Севера, не просто данные и материалы, а выводы, к которым он приходит на основе «полевых» наблюдений.

Он не делал карьеры. Потребность в ученом такого типа была столь велика, столь требовательно поставлена временем, что Георгию Николаевичу особо не нужно было задумываться о продвижении по служебной лестнице. С 1935 года он — профессор Института народов Севера, через три года — старший научный сотрудник академического Института этнографии. Как его хватает на все? Ведь кроме ИНСа, ИПИИна, педагогического института имени А. И. Герцена он работает в ЛИЛИ (Ленинградский историко-лингвистический институт) и до конца своих дней будет читать курсы ненецкого языка и этнографии народов Сибири на кафедре этнографии

Ленинградского госуниверситета, хотя студентов у него останется всего трое.

В декабре 1937 года над ним сгустились тучи. Наиболее ретивые марристы¹ обвинили его в проведении «буржуазно-националистических установок в языковом строительстве Крайнего Севера». Обвинение по тем временам серьезнейшее.

Прокофьев был снят с должности заведующего сектором северных языков и вообще исключен из ИНСа. На пять с половиной (очень долгих) месяцев Прокофьев был лишен работы. Он пережил трудные дни. Для бюрократов от науки ему пришлось собирать характеристики, чтобы доказать свою научную состоятельность. Но нет худа без добра. Георгий Николаевич мог убедиться, что настоящие ученые по достоинству оценили его труды. Они писали в официальных бумагах: «Г. Н. Прокофьев является не только самым крупным работником СССР в области изучения языка и быта самодийских народов, но также одним из наиболее крупных представителей этой отрасли знания в Европе». «Работы Г. Н. Прокофьева дали возможность продвинуть далеко вперед изучение самодийской группы народов и вплотную подойти к разрешению проблемы их этногенеза». «Г. Н. Прокофьев поднял на новую ступень исследование самодийских народов, языков и этнографии».

Прокофьев сосредоточит свою работу в Институте этнографии АН СССР, где с 1 октября 1938 года приступит к заведованию кабинетом Сибири. Директор института, академик В. В. Струве, еще раз подтвердит беспочвенность обвинений против Георгия Николаевича, заявив, что «Прокофьев — крупный

¹ Последователи академика Н. Я. Марра, выдвинувшего научно не обоснованную теорию «Новое учение о языке».

специалист», а кабинет Сибири после его прихода «начинает приобретать собственное научное лицо».

Психологическая травма, нанесенная Прокофьеву в ИНСе, была особенно болезненной, ибо в стенах этого института он развился в ученого новой, социалистической формации, в ученого-деятеля.

Еще за три года до сакраментального ректорского приказа в предисловии к «Грамматике селькупского языка» автор подчеркивал, что «работа его по изучению самоедских языков в течение четырех последних лет протекала в условиях постоянного товарищеского обмена с группой лингвистов-северников, входящих в состав лингвистической секции научно-исследовательской ассоциации ИНСа ЦИК СССР. Весь свой опыт, все свои знания в области изучаемых языков работники лингвистической секции приносят в товарищескую группу, обсуждают отдельные вопросы, делятся между собой своими материалами, не делая из них «кладов», никому, кроме самих себя, не доступных. Такая товарищеская обстановка работы чрезвычайно способствует повышению производительности научно-исследовательского труда и благотворнейшим образом отзывается на всем ходе работы».

Обстановку доброжелательности и подлинного демократизма в первую очередь создавал сам Прокофьев, с самого начала возглавивший ведущую в научно-исследовательской ассоциации лингвистическую секцию. Секция была даже не научным центром, а настоящим боевым штабом, как тогда любили говорить, «языкового строительства» на Крайнем Севере. Слова «язык» и «строительство», возможно, не очень сочетаются, но этот термин выражает существо той огромной работы, которую вели молодые советские этнографы и языковеды, осущес-

ствляя национальную ленинскую политику среди народов Крайнего Севера.

Ко времени проведения Всероссийской конференции по развитию языков и письменности народов Севера научно-исследовательской ассоциацией был подготовлен проект Единого северного алфавита. ЕСА был создан на основе латинской графической системы. Языковые «строители» руководствовались такими соображениями:

«С русской графикой иногда до сих пор продолжает связываться представление о русификаторской политике «просвещения инородцев» в царской России. Латинский алфавит представляет больше возможностей для графической передачи звуков туземных языков, чем алфавит русский».

Кроме того, считалось, что «принятие латинского алфавита содействует культурно-политическому влиянию со стороны некоторых народностей Севера на их зарубежных соплеменников (лопари, эскимосы, тунгусо-маньчжуры)». Принималось во внимание, что латинский алфавит «приобретает все более и более интернациональный характер».

Через пять лет, когда практика показала, что письменность на латинской основе затрудняет восприятие русского языка, от латинского ЕСА отказались, и был создан северный алфавит на русской основе, существующий до сих пор. Прокофьев, в отличие от некоторых ретивых защитников латинского алфавита, сразу осознал свою ошибку, авторитетом своим способствовал, чтобы ее поняли и другие, но все же обвинения в «буржуазно-националистическом» уклоне не избежал. Чисто научный вопрос был преподнесен как сознательная политическая «установка».

Ошибки в работе «языковых строителей», наверное, были неизбежны. Письменность, алфавит у

разных народов порой складывались веками. А советским лингвистам были отпущены на это даже не годы, а месяцы. Задача огромной культурной и социальной важности, устремленная в будущее, она требовала учета многих и разнообразных факторов. Учесть их было трудно уже потому, что специалистов по языкам северных народов было слишком мало.

Но история показывает, что они сумели справиться с труднейшей задачей. Первые буквари для маленьких северян — первое тому подтверждение. Советские ученые выступали здесь в роли «кириллов и мефодиев», ведь у них в этом деле не было предшественников.

...«Новое слово», — выведено на сероватой бумажной обложке. Обрамленный северным орнаментом рисунок: дымы над островерхими чумами, рыбаки на берегу, катера на реке. Обложку для своего букваря Георгий Николаевич нарисовал сам: она строго графична и по-детски проста. Многие рисунки в букваре тоже его, все они связаны с северным бытом, ведь в Янов Стане и в путешествиях по Большеземельской тундре, по Таймыру он не расставался с карандашом и акварельными красками. Другие рисунки знакомили тех, кто в северных национальных интернатах впервые садился за парту, с вещами, которые маленькие таежники и тундровики еще не встречали или встречали редко — локомотивами, дымящими фабриками, самолетами, проспектами городов, линиями электропередач или со столь экзотичными для северян коровами.

Автору трудно было донести до своих юных читателей многие понятия, казалось бы, самые обыденные. И он переводил: «лен — тканевая трава», «хлеб — хлебная трава». Еще труднее было донести такие понятия, как «большевик», «коммунист»,

«Кремль», «секретарь», «голосование», «часы». Красная Армия в переводе звучала как «красных воинов собрание», СССР — «круг наших народов с советским устройством».

Школьнику-северянину было совершенно непонятно, что изображено на гербе СССР. Приходилось объяснять, что серп — это орудие для уборки травы, колосья — травяные головки, а зерна — травяные плоды, похожие на яички птиц. Приходилось полагаться на то, что интернатские учителя и «ликвидаторы» смогут до конца объяснить своим слушателям высокий смысл этих понятий.

Прокофьев сдал свой «самоедский» букварь в июле 1931 года, почти одновременно с Богоразом. Им, первым, пришлось труднее всего. Георгий Николаевич создавал свой букварь на основе большеземельского диалекта ненецкого языка. Вообще ненецкий в отличие от многих других северных языков, страдающих диалектной раздробленностью, обладает поразительным единством: ненец-пастух с Канина Носа поймет оленевода с Пясины, хотя районы их обитания разделяет расстояние более двух тысяч километров. Большеземельский говор с примыкающими к нему языками обдорских и ямальских ненцев, по мнению Прокофьева, «являлся, без сомнения, наиболее типичным для всей народности в целом» и «был наиболее пригодным для использования его в качестве основы для создающегося литературного языка ненцев». Автор «Нового слова» руководствовался также тем, что этот говор занимает центральное место в ненецком языке, а ненцы Большеземельской тундры «более развиты культурно и политически».

Помощниками у него были студенты ИИИСа, приехавшие в Ленинград из Большеземельской тундры, Клавдия Талеева и Николай Собрин.

Три года в Яновстановском интернате, непосредственное общение с детьми в тундрах Ямала, Таймыра и Баренцева побережья помогли Георгию Николаевичу найти верный тон, уловить ту интонацию, которая заложила основу взаимопонимания автора и маленького читателя. Этот, казавшийся суровым и замкнутым, человек очень любил детей: недаром у него их было шестеро, и, несомненно, он обладал редким даром, свойственным только большим детским писателям, — умением говорить ясным, строгим и доступным детскому восприятию языком.

Две короткие статьи из букваря «Новое слово» в дословном переводе с ненецкого:

«Комитет Севера. В 1924 году наши советские руководители Северный Комитет устроили. Тот Северный Комитет ненцев жизнь улучшает, остяков жизнь, тунгусов жизнь тоже улучшает. Северный Комитет, председатель его Петр Смидович. В тундре школу устроить надо, больницу устроить надо, культу базу устроить надо. Это все Комитет Севера устраивает. Этим Комитета Севера делом ненцы до хорошей жизни дойдут».

«Красная Армия. Красная Армия нашей Советской страны страж. Наша Советская страна воевать не хочет. Другие страны с нашей Советской страной воевать если захотят, Красная Армия наша Советскую страну нашу защитит от всех воевать желающих. Красная Армия наша нас защитит».

Автор «Нового слова» не подлаживался под детей, но строго учитывал грамматическую систему их родного языка, что улучшало восприятие самых сложных для них понятий.

«Книге конец дошел». Так он заканчивал свой букварь. Но эта фраза имела еще одно значение. Букварь, изданный небольшим тиражом, в бумаж-

ной обложке, дети зачитывали до дыр. Второе издание 1934 года уже вышло в картонном переплете.

Год спустя в издательстве НИА ИНСа ЦИК СССР вышла «начальная селькупская учебная книга» «Красный путь», автором которой была Екатерина Дмитриевна. Если пенцы никогда не видели букваря, то у «Красного пути» был предшественник. Еще в 1897 году фольклорист Н. Г. Григоровский, отбывавший ссылку в Нарымском крае, издал в Казани «Азбуку для сюзогой чулани» (так он называл кетских и тымских селькупов). Однако благородный этот труд не нашел применения, Григоровский настолько искажил слова, что, по свидетельству этнографов, «селькупы не узнавали в его записях своего родного языка».

Букварь Е. Д. Прокофьевой, вышедший под эгидой НИА ИНСа, построенный на научной основе, в 1953 году был переиздан для подготовительного класса селькупской начальной школы с переводом на русский язык. Георгий Николаевич иллюстрировал труд жены вместе с известным детским художником-анималистом Е. Чарушиным.

В творческом наследии Прокофьева, насчитывающем около сорока сохранившихся работ, почти половина — методические указания и пособия для учителей. Он стал авторитетом среди северных педагогов (неожиданно для самого себя). Специалистов в этой тонкой и деликатной отрасли педагогики было в ту пору совсем мало, а ведь у него имелись и практика, и опыт, и обширные теоретические знания. В таких случаях говорят — волею судеб.

Он от этой судьбы не бежал — шел навстречу жизни, которая оказалась и многообразнее, и сложнее, и труднее, чем он предполагал в свои юношеские годы.

Задумываешься, кем бы он стал, не случись того

памятного выстрела «Авроры», перевернувшего не-устроенный российский, а его — налаженный буржуазный быт? Наверное — ученым: склад ума предрасполагал к этому. Но — кабинетным, не слышащим шума улицы, погруженным в свои логические построения. Может быть — сострадательным гуманистом, случись ему заняться этнографией. Но вряд ли — ученым-деятелем, каким его сделало советское время.

В 1936 году Учпедгиз издал его «Самоучитель ненецкого языка» — практическое пособие для тех, кто должен был работать с тундровиками — партийных, советских работников, медиков, учителей, сотрудников Красных чумов, землеустроителей, ветврачей и зоотехников. Идея этого самоучителя родилась еще в 1930 году, когда Прокофьев, заведующий Хаседахардской культбазой, готовил в «Нарьяна Вындер» (печатный орган Ненецкого окружкома КПСС, газета «Красный тундровик») специальные полосы — уроки ненецкого языка для работающих на Севере русских.

В 1939 году в том же Учпедгизе вышел учебник ненецкого языка (грамматика и правописание) «Ненеця вада», предназначенный для двух первых классов национальной школы. В дополнение к этой книжке шли его же методические указания «Как работать с ненецким букварем «Едэй вада».

Как благодарны были ему те восемнадцатилетние девчужки, которые по комсомольскому призыву ехали на Север учить детей после скоротечных десятимесячных курсов, не знавшие языка и сразу оказавшиеся перед массой проблем. Некоторые из этих проблем и помогали им решать прокофьевские книжки.

В своих планах он записывал: перевести на ненецкий язык брошюры «СССР и страны капита-

лизма», «Дзержинский», составить для издательства Института Арктики (ИНС в те годы передали в ведомство Главсевморпути при СНК СССР) «Инструкцию по транскрибированию географических названий на ненецком языке».

Наверное, были коллеги, которые сожалели, что он тратит свое время и талант на эти более чем прикладные стороны науки. Но у него был пример учителя — В. Г. Богораз-Тана, который в ответ на подобные же сожаления любил говаривать, что для большого ученого не бывает малых дел. Он возвышает их масштабом собственного ума.

Время — вот, пожалуй, то главное, что стоит за простыми строками букварей и учебников Прокофьева, — время, которое властно требовало от него быть не только ученым, но и гражданином.

В 1939 году по его инициативе вышел лингвистический сборник «Советский Север», который должен был стать регулярным. Прокофьев ставил целью нового издания «облегчить для молодых интеллигентов-националов и местных работников освоение основ лингвистики». Вместе с сотрудниками сектора северных языков Института языка и мышления АН СССР он принимал участие в выработке фонетической транскрипции на основе введенного в 1937 году нового алфавита языков народов Севера, построенного на русской графической системе. Его имя трудно отделить от всех начинаний того грандиозного культурного процесса, который развернулся на национальных окраинах Крайнего Севера.

Он рос в своих работах не только как ученый, но и политически. Его научные статьи начала сороковых годов начинаются необычно — политическими преамбулами. Как один из ведущих финноугроведов, он не мог молчать: финские исследователи фашистского толка начали тогда «этнографическую

пристрелку» для обоснования политических притязаний. Пресловутый генерал Маннергейм был избран почетным председателем Финно-угорского общества, а Кай Доннер, которого знали как ученого и который еще до революции путешествовал по Сибири, стал одним из вожаков фашистского движения в Финляндии. Они объявляли о «неотъемлемом праве» этой страны на захват северных территорий от Балтики и вплоть до Урала. Аргументы у них были лингвистическими — «родственность» финскому языку таких языков, как саамский, эстонский, коми, манси, хантыйский и все самодийские, входящие в уральскую языковую семью.

Георгий Николаевич писал:

«Уральская концепция не может быть расценена иначе, как лженаучная теория, «обоснованная» реакционной частью финляндских ученых в угоду политике империалистических захватов»¹.

В биографии Прокофьева много неожиданных поворотов и коллизий. Его трагическая смерть проецируется на всю его жизнь. Архива практически не сохранилось. Близких и знакомых, которые бы сопровождали ему на всем протяжении жизненного пути, также не осталось. С Екатериной Дмитриевной мне, к сожалению, не удалось встретиться — она умерла в апреле 1978 года.

Поэтому в этом очерке читатель обнаружит некоторые «провалы» — автору не хотелось что-то домысливать об этой сложной натуре, когда не было каких-то документальных доказательств. И все же

¹ К. Доннер, Е. Сёталя пытались доказать, что северные самодийцы (ненцы, иганасаны, селькупы и энцы), как и их южные собратья (самодийские племена Саянского нагорья), якобы произошли с западного Приуралья. Отсюда рукой было подать до «великой Финляндии», восточные границы которой простирались бы до Урала.

даже в том немногом, что удалось узнать, просвечивает удивительно последовательная и цельная человеческая личность, обретавшая себя в борьбе с собой.

Рассказ о Прокофьеве не может быть оборван на дате его смерти. Ведь оставалась в живых Екатерина Дмитриевна, не только жена — друг, сподвижник, соратник на протяжении двух десятков лет его жизни.

С конца января, после торопливых (из-за бомбежек) похорон Георгия Николаевича, и до 26 апреля, когда Екатерину Дмитриевну посадили в поезд для эвакуированных, она пережила кошмарные дни. На ее руках умер Андрюша, которому было всего несколько недель — у матери не было молока. За неделю до эвакуации она похоронила и пятнадцатилетнего Бориса, того самого яновстановского Бобу, который был так удивительно похож на отца.

На руках оставались пятилетний Саша, шестилетняя Инга, восьмилетняя Анна и единственная помощница — Лёля, которой было восемнадцать (она уйдет на фронт, станет снайпером, пройдет всю войну, но умрет в 1946 при родах).

В поезде тяжело заболела Аня. Она сначала металась, потом затихла. Мать в беспамятстве прижимала ее к себе. В эвакопоезде не было ни врача, ни пищи, ни даже воды.

— Выкинь! Выкинь! — кричали женщины. — Она же мертвая.

Тогда случалось, что обезумевшие матери не выпускали из рук уже мертвых детей. Екатерина Дмитриевна никому не позволяла притрагиваться к дочери. Потом она рассказывала своим детям, что ничего не помнит о том, как они ехали в эшелоне. Очнулась в какой-то кубанской станции, куда пришел поезд. На руках Аня. Живая.

Из-под Краснодара поезд отправили подальше в тыл, в Казань. Здесь ей помогла Эдда Юльевна Катанова, секретарь местного комитета академических учреждений, эвакуированных в Казань. Дети были устроены в академический интернат, а сама Екатерина Дмитриевна поступила сначала на телефонный, а затем на знаменитый имени Горбунова авиационный завод.

В своих только начатых мемуарах Екатерина Дмитриевна, перескакивая через многие события, все же сказала об Эдде Юльевне, «спасшей жизнь мне и детям в Казани в период эвакуации».

Когда семья возвратилась в Ленинград, поселиться ей было негде, и ее приютил добрый друг Георгия Николаевича — будущий академик Алексей Павлович Окладников.

Дети росли. Анна станет врачом-психиатром, Инга — учительницей, Александр — физиком, специалистом по ЭВМ.

Екатерина Дмитриевна в свое время не смогла закончить вузовского курса: торопилась с мужем в Янов Стан. В ее бумагах записали: «Считать не окончившей этноотделения, а выбывшей из вуза до окончания его, но работающей на местах по этнографии». Она работала: писала этнографические статьи, создала селькупский букварь, переводила для селькупских школьников учебники арифметики и книги для чтения, сама написала книгу для чтения второклассников, ездила в экспедиции. Но после войны, когда зашла речь о защите диссертации, кто-то вспомнил, что соискательница-то недипломирована. К тому времени она уже была одним из ведущих исследователей-селькуповедов. В академическом Институте этнографии она оставалась вплоть до выхода на пенсию в 1966 году.

После войны она дважды посетила места, в ко-

торых ей довелось работать в молодости. В 1954 году она работала в Пуровском районе среди лесных ненцев, а еще через восемь лет проехала по маршруту Москва — Салехард — Тазовский — Красноселькуп. Последний поселок был центром района, в котором преимущественно жили селькупы. Здесь Екатерина Дмитриевна встретила многих из своих учеников, у которых уже были свои внуки. «Люди тайги» хорошо помнили Георгия Николаевича. Правда, фамилию они не упоминали, а говорили просто: учитель.

А может, это высшая слава — остаться в памяти народа не фамилией, но вот так безымянно: учителем?

Последние научные экспедиции Екатерины Дмитриевны связаны с Тувой и Алтаем. Нет, она не изменила своей привязанности к самодийцам, просто в тувинской Тодже и на Алтае искала следы тех саянских племен, предки которых в незапамятные времена начали путь к арктическим берегам Сибири.

Ее научные работы были посвящены преимущественно селькупам: «Старые представления селькупов о мире», «Оленеводство тазовских селькупов», она составила селькупско-русский словарь. Для тома «Народы Сибири» она написала три статьи «Селькупы» (с использованием материалов Г. Н. Прокофьева), «Ненцы» (в основу описания дореволюционного быта положена статья Г. Н. Прокофьева и Г. Д. Вербова), «Ханты и манси» (с участием В. Н. Чернецова и Н. Ф. Прытковой).

Сотрудники кабинета Сибири этнографического института вспоминают скромную, доброжелательную, всегда держащуюся с достоинством (истинная ленинградка!) женщину. Студенты-северяне, бывавшие в кабинете, шепотом спрашивали: та ли это Про-

кофьева? Многие из них учились по ее букварю.

И после ухода на пенсию она появлялась в институте с той же постоянностью, как и до ухода.

На ее долю в жизни выпало немало невзгод, страданий и бед. И если выбирать только одно определение для этой героической и трагической жизни, пожалуй, лучше всего подойдет это: достойно. Она прожила свою жизнь достойно.

Какая в мире семья может гордиться тем, что в ней — два создателя письменности для двух народов?

Только советская эпоха могла наполнить жизнь Прокофьевых таким глубоким содержанием, только она подарила им счастье увидеть результаты своего труда, нашедшие проявление в судьбе народностей Севера.

В конце прошлого века среди ученых-историков разгорелась дискуссия о том, что означает название города Мангазея — столицы северосибирского пушного торгового семнадцатого века, некогда «золотоплящей вотчины государевой». Первой, как обычно бывает в таких случаях, выплыла этимологическая версия, лежащая весьма недалеко от поверхности. Очень уж созвучно название старинного острога со словом «магазин». Мол, некогда на берегу реки Таз существовал казенный, или, как их именуют в давних документах, «хлебозапасный», магазин для торговли с «иногородцами». Версия, естественно, не выдерживала даже самой слабой критики: слово «магазин» попало в русский язык из Европы гораздо позднее, чем возникла Мангазея.

Свою гипотезу предложил и знаменитый рус-



Глава

3

„ПАДНАНА
ЛУЦА“

ГРИГОРИЙ
ВЕРБОВ

ский географ, почетный академик Дмитрий Николаевич Анучин. Он считал, что название города — это русифицированный вариант ненецкого словосочетания «малхана-зеи». «Малхана» означает «окраинный», «зеи» — признак фамильной принадлежности, а все словосочетание в целом — один из родов, обитающих на окраине расселения большого ненецкого племени. Четыре десятилетия эта версия ни у кого не вызывала сомнений, все в ней казалось аргументированно и обоснованно. Действительно, район «северного Багдада» (числился за Мангазеей и такой восторженный титул) находится на границе расселения ненцев и селькупов. Вполне мог существовать в семнадцатом веке ненецкий род, о котором соплеменники, живущие ближе к Полярному Уралу, отзывались, как о «малханазеях» — окраинных людях. Русские поморы и служилые казаки, заложившие фундамент острога, дали ему название в честь тех, кто издавна населял эти места. В гипотезе Анучина было много конструктивного. Но вот в феврале 1941 года на заседании отделения истории географических знаний Всесоюзного географического общества с докладом «О древней Мангазее и расселении некоторых самоедских племен до семнадцатого века» выступил Григорий Вербов. Молодой исследователь, лингвист и этнограф последовательно опроверг своего почтенного предшественника. В ненецком языке не существует такого речевого оборота, который русские бы могли понять, как «молганзеи», «монгазеи». О живущих на краю они сказали бы «вачь» или «ай малхана йилен'ар». Анучинская же «малхана-зеи», может быть, и интересная, но искусственная словесная конструкция.

Однако опровергнуть мало. Если загадочные молганзеи не ненцы-юраки, то кто же они тогда? В архивах, в «Сказании о Сибирском царстве» (оно

относится как раз к семнадцатому веку), в трудах историков ломоносовского времени — Герарда Миллера и Иоганна Фишера, Вербов находит упоминание о роде «мокасе», проживающем в «Самоядждой земле». Становится ясно, что род этот близок ненцам. А самыми близкими к ненцам были энцы, небольшая народность самодийской группы, заселявшая междуречье Оби и Енисея. Энцы делили себя на три рода: бай, мадду и монкаси (или моггади). Но современные энцы живут в низовьях Енисея, на территории, примыкающей к реке Таз, — их всего несколько семей. Может, старинные карты могут прояснить неясные вопросы? Да, если на них посмотреть чуть более внимательно. В сибирском атласе англичанина Дженкинсона (издания 1562 года) восточнее территории, которую британец обозначил «Малганзея», расположена таинственная земля «Байда». Анучин, опубликовавший дженкинсову карту, на это название не обратил внимания. А зря. Термин расшифровывается достаточно просто: «Бай йа» — не что иное, как «земля рода бай».

На основе всего этого комплекса фактов (а Вербов собрал их значительно больше) исследователь мог сделать вывод: местность, лежащая в районе среднего течения реки Таз и, возможно, юго-восточная часть Гыданской тундры, была некогда (вероятно, еще в 15-м веке) заселена энецким племенем Монкаси, название которого распространялось также на принадлежавшую ему территорию («монкаси йа» — монкаси земля) и впоследствии было использовано первостроителями для наименования нового государева острога, первые венцы которого служилый казачий люд срубил в 1600 году.

Вербов встретил потомков самых первых «мангазейцев» — энцев во время своего путешествия по Таймыру и междуречью Оби и Енисея в 1938 году.

К этому времени энцы обжили территории по правому берегу Енисея, зимой их становища можно было отыскать недалеко от Дудинки по пути к Пясинскому озеру, летом они снимались и двигались со своими стадами на север, добираясь даже до Гольчихи у Енисейского залива. Предания сохранили сведения о том, что раньше это племя было и многочисленней, и воинственней. Еще и в майгазейские времена энцы посылали священного оленя в стойбища ненцев и селькупов. По законам тундрового джентльменства для объявления войны в оленье стадо противника пускали быка — хора, с выжженным на боку изображением лука и стрелы. По метке противник определял, кто решил напасть на него, и начинал подготовку к боевым действиям. Но звезда военной удачи изменила энцам, и соседи отогнали их с тазовских берегов дальше на север. Таежники стали тундровиками. Но даже их самоназвание свидетельствовало о том, что они коренные жители леса. Корень «могга» в родовом названии «моггоди» означает «лес». О том, что энцы раньше жили южнее, говорил и тот факт, что некоторые селькупские племена, ныне населяющие берега Таза, носят фамилии, весьма схожие с теми, что распространены среди энцев. Так, на Енисее можно встретить Болиных, на Тазу — Полиных, в тундре — Чекурминых, в тайге — Текурминых. О чем это свидетельствует? О том, что часть энецких племен, которая не ушла на север, осталась в тайге, но переняла язык селькупов, а потом и многие их обычаи и нравы.

Вербов не только доказательно обосновал свою версию, но и собрал богатейший материал по обычаям и религиозным воззрениям энцев. Однако ему не удалось его обработать, позднее, уже после войны, это сделала Екатерина Дмитриевна Прокофьева, ко-

торая таким образом отдала дань памяти своего коллеги.

Маленькое племя. Едва ли не самое малочисленное в нашей стране. Во время переписи 1959 года эяцы даже не попали в переписные листы, но это была ошибка наших статистиков. Все эяцы, как правило, двуязычны, владеют языками своих соседей: ненцев, иганасан, селькунов, русских — и «спрятались» в этих национальностях. Но к следующей переписи этнографы обратили внимание на этот просчет, и племя как бы вновь возродилось.

И вот, несмотря на эту малость (триста человек в четырехмиллиардном человеческом море!) — какая интереснейшая история, какая сложнейшая духовная жизнь, какая умелая приспособляемость к трудным условиям. Нет, не дикарями, а полноправными представителями человечества были эти северные рыбаки и охотники. Они создали сложную систему представлений об окружающем мире. Они поклонялись хозяину жизни, погоды и оленей великому Нга, который жил якобы на последнем из семи небес, «ворочал» землей, управлял северными сияниями, следил за справедливостью на земле, но, как все боги, был несколько аморфен и равнодушен к земным заботам людей. Это Нга заставил священную гагару нырнуть (было это в те времена, когда на планете еще не существовало суши, только вода) и достать в клюве немного ила. Из этого ила он сотворил землю. Его жена, добрая Дья меню'у покровительствовала детям и беременным женщинам. Зато старший сын Годоте — прожорливый каннибал — насылал на людей всяческие недуги и болезни. Но в божественной семье имелось и несколько доброжелательно настроенных к людям сыновей — нихо, они были хозяевами священных мест и служили посредниками в отношениях между Нга и

людьми. У воды, у леса, у гор, у севера и юга были свои духи-хозяева. Большая семикрылая птица Минлей распорядилась ветрами. Подземными делами ведали злые духи — амука. Эпцы поклонялись животворящей женщине — Солнцу и в январе, когда оно появлялось после долгой полярной ночи, убивали в честь его прихода священного оленя.

Не менее сложной была и духовная организация самого человека: ведь он, по представлениям эпцев, имел четыре души — душу-кровь, душу-дыхание, душу-тень, душу-двойника. Человеку давалось три имени, и данные имена считались занятыми, потому что имя — живая часть человека. Без особой надобности их не произносили, потому что вездесущие злые духи, владея именем (частью человека), могли причинить ему вред.

У каждого охотника, каждого оленевода был свой йаб — дух счастья и удачи. Заготовители-кооператоры потом столкнутся со странным, по их мнению, явлением — охотник-энец никогда не приносил на факторию первого пойманного песца. Он его даже не показывал в семье. Нельзя, иначе уйдет, покинет йаб, и тогда уже не будет удачи.

Чтобы жить в этом сложном мире, необходимо было знать множество правил. Жена охотника перед выходом на промысел «снимала след» медведя — лопатой заметала снег: иначе муж не заметит зверя и медведь убьет охотника. Жена рыбака никогда не резала рыбу поперек — не будет улова. Обработывая шкурку песца, женщина съедала его глаз — подслеповатый зверек быстрее попадет в капкан. Сжигая шкурку гагары, вызывали ветер с севера, а держа обмерзший топор над огнем, вызывали тепло.

Вербову посчастливилось (для этнографа это всегда удача, видимо, у исследователя был хороший йаб) присутствовать на «ночи обучения» — посвя-

щался в шаманы молодой энец. Он должен был пройти большую школу, прежде чем стать шаманом одной из трех категорий. Специалисты по связям с потусторонним миром четко знали границы своего искусства. Шаман самой низшей, третьей группы занимался только похоронными обрядами, провожая душу умершего. Шаман второго разряда — дьяно, работал только ночью, при свете костра, общаясь с Годоте, он мог вылечить человека. Кроме того, он мог отыскать потерявшегося оленя или растолковать странный сон. Обладать шаманским бубном имел право только будтодэ — специалист высшего класса, который в специальном костюме проводил весенние и осенние камлания¹ и мог слышать распоряжения самого главного божества порядка, справедливости и управления — Нга.

Самыми лучшими шаманами у энцев считались женщины, которые на лезвии ножа, как в зеркале, видели тени событий и вещей и могли растолковать суть будущего и смысл прошедшего. Слава шаманящих энков распространилась далеко от берегов Енисея, и даже в Большеземельской тундре этнографам приходилось слышать лестные слова об их искусстве.

Энцы, с которыми приходилось встречаться Вербову, уже создавали коллективные артели по промыслу рыбы, охоте на дикого оленя. Некоторые обычаи и традиции уходили в прошлое, некоторые закреплялись, но жизнь уже определялась не давними законами тайги, а законами социалистического переустройства.

Возможно, маленькое северное племя могло бы

¹ Ритуал, приводящий шамана в иступленное состояние и гипнотизирующе действующий на зрителей, сопровождается своеобразным песнопением и звуками бубна.

раствориться, ассимилироваться в среде своих более многочисленных соседей, а не случись Великого Октября — и совсем вымереть. История знает тому немало примеров — среди самодийцев навсегда исчезли маторы, койбалы, сойоты, котты. Может быть, благородство труда этнографа, занимающегося малыми народами и племенами, как раз и заключается в том, что он в огромную сокровищницу человеческих знаний о мире вкладывает то, что до него никто не сделал. И сколь бы скромным ни казался этот вклад в планетарном масштабе, без него наши представления о мире и человеке были бы неполными.

На Таймыр Вербов ездил по совету своего учителя Георгия Николаевича Прокофьева. Именно Прокофьеву принадлежит заслуга в том, что к маленькому народу вернулось его имя. Раньше энци в ученых трудах фигурировали под именем «енисейских самоедов». Прокофьев изучил энецкий язык и пришел к выводу, что он «занимает промежуточное положение между ненецким языком и нганасанским диалектом». Работа Прокофьева и Вербова ввела в этнографический и лингвистический оборот целый этнос и его язык.

О Григории Давыдовиче Вербове говорят: «Он мог бы столь много сделать...»

...В суровом распорядке фронтовой жизни дни рождения солдат и офицеров как-то особенно не отмечались. Разве что повар положит в котелок чуть больше гречки... Доброволец, старшина 521-й отдельной роты связи, прикомандованной к отделу артиллерии штаба армии, Григорий Вербов отпраздновал свое тридцатитрехлетие скромно, как и положено в военной обстановке. Только вспомнил:

— Возраст Иисуса Христа и Ильи Муромца. Ненцы считают, что человек начинается после тридцати трех.

Значит, все еще впереди...

Написал письма в Ленинград. Одно — своей студентке Людмиле Васильевой:

«Как бы мне хотелось дожить до того времени, когда я смогу претендовать на участие в давно задуманном мною и проектируемом сейчас деле».

Той же Васильевой он писал, узнав о смерти Прокофьева: «Осиротела наша отрасль науки. Много нужно работать, чтобы восполнить образовавшуюся брешь».

Это был его долг ученика. Долг перед учителем. Он собирался многое свершить.

На следующий день внезапный и жестокий артиллерийский снаряд застал старшину Вербова работающим на телеграфном столбе, устраняющим очередное повреждение. Вербов сам слез со столба, но лейтенант Сурогин, подбежавший к нему, не успел спросить обычное: «Не ранило?» Гимнастерка старшины была пробита осколком снаряда, и по животу расползлось большое мокрое пятно. В госпитале определили: пробит желудок, раздроблен позвоночник, кость ноги.

— Безнадежен, — сказал усталый хирург.

Григорий Давыдович умер утром, не придя в сознание.

Ротный политрук Егоров писал сестре убитого — Ольге — на бланке наркомата обороны: «Ваш брат старшина т. Вербов Григорий Давыдович, уроженец г. Москвы, в бою за социалистическую Родину, верный воинской присяге, проявив геройство и мужество, был ранен и умер от ран и похоронен в братской могиле, станция Понтонная Ленинградской области». Политрук от себя добавил: «Я заверяю вас, что мы жестоко отомстим презренному врагу за смерть вашего брата».

В братской могиле на станции Понтонной хоро-

нили человека, который в свои тридцать три сумел сделать весьма много, а мог сделать еще больше.

Мать Вербова — Ольга Григорьевна, — коренная петербуржка, фельдшерица, в свои молодые годы «ходила в народ», лечила крестьян. Давыд Федорович работал в земстве, потом стал коммивояжером. Этот неистовый поклонник Горького был по складу своего характера вечным странником. Видимо, охота к перемене мест и привела его в конце концов в Арктику. Освоив радиодело, он в 1924 году уже командовал полярной станцией на Новой Земле. Григорий учился в знаменитом тогда училище на Моховой, до революции и в первые годы после нее известном как Тенишевское. Здесь он посещал кружок естественных наук, увлекался книгами о Севере. Отец, ставший полярником, еще больше возбудил интерес к высоким широтам. Пожалуй, определяющими для выбора жизненного пути стали каникулы 1925 года. Вербов-сын поехал в Архангельск, чтобы на пароходе «Русанов» совершить переход до островов Новой Земли, снять отца с зимовки. Григорий ехал не в качестве пассажира, а работал матросом. Белые ночи Баренцева моря пленили его навсегда...

Он поступил в Институт народов Севера, но в нем не обучали этнографии, и через два года Вербов перевелся на этноотделение Ленинградского государственного университета. Здесь он встретился с Прокофьевым, и это определило его будущие интересы: он специализируется по «самоедологии», как они между собой называют свою область этнографии. Во всех последующих экспедициях, научных и практических предприятиях студента Вербова чувствуется крепкая направляющая рука Прокофьева. Учитель нашел в ученике то, что устраняло их разницу в возрасте (Вербов был моложе на дюжину лет) — студент был столь же истово влюблен как в

Север, так и в науку. Его упорство, целеустремленность, кажется, не знали преград. Чтобы овладеть разговорным ненецким языком, Вербов на всю зиму 1930—1931 года уезжает в Большеземельскую тундру, Прокофьев организует ему командировку Комитета Севера, и Григорий Давыдович постигает все оттенки большеземельского диалекта, кочуя среди оленеводов с Красным чумом. Он возвращается в Ленинград всего на несколько недель, чтобы защитить дипломный проект, и снова возвращается в Нарьян-Мар. В столице только что организованного Ненецкого национального округа создается педагогический техникум, и вчерашний студент берет на себя смелость (а что делать — других кадров нет!) заведовать учебной частью и преподавать молодым парням и девушкам из тундры их родной язык.

Между Ленинградом и Нарьян-Маром велась оживленная переписка: советы практика Вербова очень нужны создателю первого ненецкого букваря.

В город на Неве Григорий Давыдович возвращается осенью 1932 года, чтобы поступать в аспирантуру научно-исследовательской ассоциации ИНСа. Он успешно сдает экзамен. По нынешним временам это была, наверное, очень странная аспирантура: единственный профессор-«самоедолог» руководил занятиями единственного аспиранта. Прокофьев предлагает тему, которая чрезвычайно запутана несколькими поколениями ученых. В Яновом Стане ему приходилось много слышать о пянхасово, лесных ненцах, о которых наука не располагала особо достоверными фактами. Хотя тема кандидатской диссертации обозначена довольно узко — «Диалект лесных ненцев», соискателю необходимо кардинально разобраться в истории этого племени.

Когда тридцатилетний профессор Гельсингфорского университета Александр Кастрен отправлял-

ся в 1844 году в Западную Сибирь, его научный патрон, петербургский академик П. И. Кёппен, писал в инструкции-напутствии: «Надо исследовать Лямина Сора. По сведениям березовского исправника, там кроме остяков живут и самоеды, какие-то особенные. Видимо, на них указал еще в 1830 году ваш немецкий коллега Геденштрем».

Попав в Самарово, Кастрен узнал, что недалеко живут какие-то ненцы, и изменил первоначально намеченный маршрут. Своему коллеге Раббе он сообщал: «Из Селияровского я еду в сторону от Оби в маленькую деревню, где кроме остяков есть казымские самоеды». В деревне Торопковой финский лингвист встретил нескольких пянхасово. Первое его впечатление: это лишившиеся оленей и осевшие среди русских тундровые ненцы. Но разговор с пянхасово заставляет знатока самодийских языков изменить первоначальное мнение. Изумленный исследователь пишет в путевом отчете: «Как велико было мое удивление, когда я узнал, что они с древних времен существовали оседло на Оби, составляли свой особый род. Этот род вследствие близкого соседства остяков и русских растаял до количества восьми семей, которые кочуют по множеству маленьких речек, которые впадают с южной стороны в Обь... Еще два других несколько больших рода сохранились у Лямина Сора и в верхнем течении Надыма».

В Баднысских юртах Кастрену удалось встретить двух лесных ненцев с Лямина Сора. Не теряя времени, он начал работать с ними, записывая слова диалекта открытого им племени. Позднее, сравнивая тундровые и лесные говоры ненецкого языка, Кастрен высказал предположение, что лесные ненцы составляют переходное звено, связывающее тундровых, «кочующих на Севере у Ледовитого моря самоедов с южными, алтайскими».

Полсотни слов из лесного диалекта попали в кастреновский словарь «Извлечения из самоедских языков», который был издан уже после его смерти, в 1855 году в Петербурге. Но весь материал, собранный путешественником, издан не был, пролежав долгое время почти мертвым грузом в университетской библиотеке в Гельсингфорсе. Лишь весьма узкий круг исследователей знал о тех сведениях, которые собрал неутомимый Кастрен.

Поэтому, вероятно, не стоит особо удивляться, что спустя полвека лесные ненцы, как это ни курьезно, были вновь «открыты», явлены ученому миру профессором астрономии Казанского университета А. И. Якобием. Этот путешественник, посетивший берега Надыма с миссионерской целью, обнаружил здесь, по его мнению, неведомое миру племя, которое он окрестил именем нях-самар-ях. «Язык нях-самар-ях не имеет ни малейшего сходства ни с самоедским, ни с остяцким, — сообщал Якобий своему корреспонденту в Обдорске, журналисту Виктору Бартеневу. — Даже звуки, общий характер языка — совершенно особенный».

Вербов, который последовательно изучал все материалы, посвященные лесным ненцам, был немало удивлен. Ведь Кастрен — признанный авторитет среди финноугроведов, а Якобий весьма далек от этой области знания. Однако шестнадцатый том капитальнейшей монографии «Россия», вышедший под редакцией академика Семенова-Тян-Шанского (сына), слово в слово повторял версию Якобия, пересказанную Бартеневым в книге «На крайнем северо-западе Сибири». Видимо, сильно было желание открыть в сибирских болотах неведомое племя.

Настоятель Обдорской миссии, пытливый отец Иринарх, заинтересовался «открытием» Якобия. Прежде всего, конечно, его интересовали «язычни-

ки» в сплошном море православия. Но никаких язычников на Надыме обнаружено не было. Загадочное племя снова исчезло.

Но профессор астрономии так смело брался за вопросы лингвистики и делал категорические выводы только потому, что в ненецком языке совершенно не разбирался, а в толмачах у него служил полуграмотный обдорский обыватель. Если бы профессор взял себе за труд хоть немного разобраться в том, что сообщал, то открыл бы для себя, что нях-самарях и лесные ненцы — одно и то же. Казымские ханты называли лесных ненцев, живущих на берегах большого озера Нумто, «соболиными самоедами» — нохсан-ор-ях. И даже этого можно было не знать, но то, что нижнеобские ханты называют ненцев «ор-ях», путешественнику знать бы следовало. Но кавалерийский наскок казанского профессора, видимо, преследовал не выяснение истины, а жажду новых сенсационных «открытий». Только профессор Борис Житков и финский языковед Тойво Лехтисало, работавший в Среднем Приобье, смогли убедительно опровергнуть небылицы.

В советское время в районе основных поселений лесных ненцев по рекам Аган и Пур работала экспедиция Академии наук и географического общества. Ее руководитель, уроженец Тобольска профессор Б. Н. Городков, был специалистом в области геоботаники, и, хотя ему в течение нескольких месяцев пришлось работать с пянхасово, он, в отличие от Якобия, не торопился делать какие-то обобщающие выводы, а просто описал все, что видел и наблюдал: обычаи, промыслы, занятия лесного народа — сведения весьма ценные. Но последнюю точку в этом «этнографическом деле» предстояло поставить Вербову. В 1934 году Комитету нового алфавита народов Севера, действующему при Всесоюзном ЦК нового

алфавита, потребовался хороший специалист для командировки в пуровскую тайгу. Необходимо было выяснить, сколь велики различия тундрового и лесного наречий ненецкого языка, не потребуется ли для пян-хасово создавать собственный алфавит и на его основе письменность. Научно-исследовательская ассоциация выступила «компаньоном» в этом научном предприятии: ведь трудно было придумать более удобный повод для поездки единственного аспиранта-«самоедолога» в интереснейший северный район.

Транспортные средства тридцатых годов нашего столетия, естественно, отличались от тех, которыми почти век назад приходилось пользоваться Кастрену. Но все же и они были не достаточно универсальны, чтобы одолеть те препятствия, которые могут предложить реки, озера и болота (широкий выбор!) Западной Сибири. Поэтому Вербов смог посетить лишь лесных ненцев, населяющих берега Агана. Только через два года он сможет попасть на Пур, где тогда начинал строиться новый райцентр Тарко-Сале, и пополнит свои сведения о тамошних жителях. А в Ленинграде ему поможет сын бедного безоленного пастуха с берегов Пура, студент ИИСа Ляд Айваседа.

Кандидатская диссертация Вербова, несмотря на ее сугубо лингвистический характер, — это небольшая энциклопедия, рассказывающая о лесном народе. Да и могло ли получиться иначе, если практически первым берешься за достоверное описание племени, загадавшего ученым немало мудреных загадок?

Прежде всего исследователь обратил внимание на те особенности в хозяйстве обитателей тайги, которые отличали их от соплеменников, проживавших в тундре. Особенно резко бросалось в глаза отсутствие

больших оленьих стад. Тундровики, те по преимуществу были оленеводами, вся жизнь их была связана с оленем. Стада в несколько тысяч голов были не редкость, да и бедняк порой имел сотню-другую выручавших его во всех случаях жизни животных. В тайге же и состоятельный хозяин имел в лучшем случае сотню голов. Не бедность здесь была главной причиной: в лесу очень сложно пасти оленей, особенно большие стада. Кругом болота, ягельники небогаты, летом доносится гнус. На тундровом просторе условия для оленей гораздо лучше.

Главное свое пропитание пянхасово (их тогда называли еще хандаярами) добывали промыслом зверя, рыбной ловлей. Если тундровик оставался без оленей, он был обречен на голодное существование. Таежник же мог рассчитывать на хорошие уловы и добычу зверя.

Выпас оленей у лесных ненцев тоже весьма отличался от способов, которые обычно практиковали в тундре. Если там пастухам приходилось проделывать многокилометровые перекочевки-каслания в поисках обильных пастбищ и безкомариных мест, то таежник оленей почти не гонял. В комариный сезон он находил им водораздельное болото, а потом или отпускал без привязи в тайгу (все равно далеко не уйдет), или загонял в сарай-навесы с дымокурами. Особо Вербова заинтересовало то, что лесные ненцы знали «похосов» — вьючное седло, а вспоминая старину, говорили о том, что в прежние времена они и седлали оленей, ездили верхом. В тундре не знали ни вьючного седла, ни верховой езды на оленях. Там применялась или грузовая, или ездая нарта (если вам придется увидеть на каком-то рисунке ненца верхом на олене — не верьте этому: такого не бывает).

Хороший этнограф научен, что в том, что он ви-

дит у изучаемого народа, пустяков не бывает. И Вербов еще делает выводы из своих наблюдений.

Если лесной народ и был по преимуществу племенем охотников и рыболовов, то это не значит, что он достиг в этих промыслах высот совершенства. Речную и озерную рыбу ловили в основном небольшими, иногда сплетенными из крапивного волокна неводами. Применяли жердяные загородки и заколы, перегораживая небольшие речки. Главным видом речного транспорта была кедровая или сосновая лодка-облас, мастерски выдолбленная из одного ствола, но столь верткая, что научиться управлять ею можно было только после долгих тренировок. Большой груз на обласе везти было невозможно.

Охотниками пянхасово были поразительными: умели подкрасться близко к зверю, били его точно в глаз. Но ружье у них по тем временам было не просто роскошью — целым состоянием. Рядовой же охотник сам мастерил себе крепкий лук и стрелял не только утку, гуся или гагару, но и белку, лисицу, выдру, горностаю, а порой и росомуху.

Края были труднодоступны, богаты, птицы — непуганы. Может быть, поэтому здесь и мог прокормиться человек с допотопным луком и примитивной крапивной сетью.

Когда Вербов начал сравнивать диалект лесных пенцев с наречиями их соседей, то обратил внимание, что особенно близки к пянхасово энцы и нганасаны. Сильно было влияние и хантыйского языка: объяснить это было нетрудно — племена не только соседствовали. Мужчины из четырех родов пянхасово — Айваседа, Иуши, Вэлла и Пяк — находили себе, как правило, невест в хантыйских родах: Бобра, Медведя и Лося.

Вербов привлек к сравнению и камасинский язык. К тому времени уже ни одного живого камасинца

не существовало. Но представителей этого самодийского племени, проживающего в Саянском нагорье, еще успели застать Кастрен, а чуть позже его соотечественник Кай Доннер. Они и успели записать десяток-другой слов языка, который вскоре стал мертвым.

Привлечение камасинского диалекта — большая находка Вербова. Мыслил он, судя по всему, так: камасинцы обитали на территории, которую можно считать прародниной всех самодийцев. Они никуда не двигались, не уходили со своей земли. Значит, и язык их должен был в большей степени сохранить, «консервировать» те особенности, которые были свойственны языку самых древних самодийцев. И Вербов обнаружил то, на что рассчитывал: лесной диалект имел с камасинским языком гораздо больше общего, чем тундровый. Получалась цепочка: камасинский — лесной — тундровый. Какой вывод из этого можно сделать?

В великом продвижении самодийцев на север пяхасово оказались «арьергардом». Вперед ушли племена, которые обжили тундровые пространства, а лесные ненцы застряли в таежных болотах по Агану, Пуру и Надыму, обжили эти места. Места здесь были столь глухие, что давние традиции лесных энцев оказались более стойкими, чем у их близких родственников — тундровиков, которые в новых условиях жизни должны были коренным образом изменить методы своего хозяйствования и быт.

Нет, вовсе не случайно низкорослый пяхасово навьючивал своего оленя. Это значит, что и древний его предок ездил верхом на олене и возил поклажу на оленьей спине. А нарта вошла в быт оленевода уже там, на Севере.

«Нам кажется вполне вероятным, — формулировал свой вывод Григорий Давыдович, — что продви-

жение ненцев из таежной полосы, которую они занимали до своего проникновения в тундровую зону, на север — к берегам полярного моря, привело к обособлению друг от друга двух частей ненецкого племени: одной, которая осталась жить в северной полосе тайги в междуречье Оби и Таза, и другой, которая вышла на необъятную тундру и постепенно заняла всю обширную территорию, расположенную между восточным берегом Белого моря к западу и нижним течением Енисея к востоку. Следствием этого обособления и последующего самостоятельного существования указанных двух групп в отличных для каждой из них условиях явилось возникновение различий в области их экономики, быта и языка, способствовавших все большему и большему обособлению друг от друга тундровых ненцев и их лесных собратьев, что привело к формированию двух племенных групп ненцев — тундровой и лесной, говорящих на различных диалектах ненецкого языка».

Таким образом, изучая обычаи пянхасово, исследователь как бы получал возможность рассмотреть определенный срез, этап ненецкой истории, тот этап, когда самодейцы, двигаясь с Алтае-Саянского нагорья, уже достигли таежных пространств в Среднем Приобье. Архаичное хозяйство лесных ненцев зафиксировало эту эпоху развития единого ненецкого этноса.

Пянхасово занимали территорию бассейна Пура вплоть до нынешнего Уренгоя. Проведя тщательные исследования, Вербов провел южную границу племени по северным притокам Ваха, на западе по Надуму, а на востоке лесные ненцы подходили к реке Таз. На огромнейшей этой территории, как удалось с некоторой долей приблизительности выяснить, проживало не более тысячи человек, которых называли этим именем — пянхасово.

Редко расстававшийся с фотокамерой, Вербов заснял одного из последних шаманов: неопрятный мужчина в худой одежде жжет на спине своего безропотного пациента березовый трут, делая при этом ритуальные пассы ножом и не обращая внимания на выражение страдания на лице больного.

Хотя уже шел второй десяток лет Советской власти, в эту глухомань она пробивала себе путь с трудом. Это объяснялось и труднодоступностью, и тем, что в тайге оседали недобитые белогвардейцы, и тем, что даже по сравнению со своими тундровыми сородичами лесные ненцы были гораздо более отсталыми. Но уже был создан Пуровский район, на одном из снимков Григорий Давыдович запечатлел строительство первых деревянных домов в только что объявленной районным центром фактории Тарко-Сале. Здесь уже организовывалась школа, приехал первый врач, создавалось первое простейшее производственное объединение, работали торговые и заготовительные пункты потребительской кооперации. Начиналась большая работа.

И на той же странице, где фотоснимки изображали пянхасово, стреляющего из лука, пянхасово, делающего веревку из коры, шамана, лечащего сына, этнограф Вербов написал:

«Культурно и хозяйственно отсталые, находившиеся при царизме на пути к вымиранию, лесные ненцы приобщаются к строительству социализма, развивают свою национальную по форме и социалистическую по содержанию культуру».

...Мне недавно пришлось пролететь с севера на юг весь вытянувшийся по меридиану Пуровский район. Не узнать медвежий угол. Начиная от Уренгоя, шагают по здешнему редколесью мощнейшие газоперекачивающие комплексы, каждый из которых

ежегодно подает на Урал и в центр страны более десяти миллиардов кубометров природного топлива. По меридиану пересекает весь район железнодорожная магистраль Сургут — Уренгой. Выросли большие газовые промыслы на Вангоцуре и Комсомольском месторождениях, на Холмогорах качают нефть, по трассе магистральных газопроводов, устремившихся к Южному Уралу, выросли крупные компрессорные станции: Ягнетта, Пурпе, Пякупур. Растут новые города: Ноябрьск, Тарко-Сале, Уренгой, вчера еще не обозначенные на карте поселки — Ханымей, Светлоярск, Ханто.

Тяжело жил лесной народ. Но он нашел в себе силы расправить согнутые плечи, и вместе с русскими, украинцами, татарами, белорусами вышли на преобразование своей трудной земли ненцы Пяки, Айваседа, Вэлла, Иуши.

В 1973 году, спустя почти четыре десятилетия, в Новосибирске вышла в свет вербовская диссертация «Лесные ненцы». Это не только дань памяти безвременно погибшему ученому, но и свидетельство нестареющего научного долголетия его работы: чтобы продолжать изучение пянхасово, этот труд необходимо знать каждому исследователю. А лесной народ по-прежнему привлекает к себе внимание лингвистов, этнографов, историков, генетиков, фольклористов. Вербов заложил основу, но, конечно, объять все он не мог.

Свою диссертацию он защитил в НИА ИНСа, защитил блестяще. Казалось, тогда бы и засесть ему основательно за большую, перспективную тему, углубляясь в историю вопросов, которых в «самоедологии» было немало. Но время требовало другого: этнограф обязан был стать просветителем-практиком. Еще учась в аспирантуре, Вербов преподавал ненецкий язык в Институте народов Севера, а потом

в Ленинградском педагогическом институте имени А. И. Герцена. Но после защиты диссертации ему пришлось оставить преподавательство: Комитетом нового алфавита он был командирован в Салехард, где должен был принять на себя обязанности учебного секретаря Ямальского окружного комитета нового алфавита. К этому времени он уже приобрел значительный опыт, помогая Прокофьеву. Он перевел учебник арифметики Поповой для второго класса ненецкой школы, написал брошюру «Красный чум» и вместе со студентом ИИСа Николаем Собриным перевел ее на ненецкий. Вместе с тем же Собриным Вербов перевел детскую книжку Е. Чарушина «Звери жарких стран». Для Ленсельхозгиза вместе с Прокофьевым они отредактировали собринский перевод книги Я. Кошелева «Что такое оленеводческий совхоз». Это были настоящие социальные заказы. Книжки эти шли в тундровую глубинку, в школы и национальные интернаты, потому что дети должны были учиться арифметике и знать, что кроме известных им зверей живут в жарких странах слоны и жирафы. А взрослым тундровикам необходимо было доступно и понятно объяснить, что такое Красный чум или оленеводческий совхоз. Этими книжками, которые приходили на места из далекого Ленинграда, пользовались партийные и советские работники, уполномоченные и пропагандисты.

О двух годах, проведенных Вербовым на Ямале, не осталось документов. Только две книжки в бумажных переплетах, изданные в Салехарде на газетной бумаге, и пачка фотографий, сохраненная в архиве Ленинградского отделения института этнографии АН СССР. Вербов много путешествовал в эти годы, хотя тогдашние виды транспорта были весьма тихоходны, зимой — только оленья упряжка, летом — лодка под парусом да, если повезет, мало-

мощный катеришко. По пожелтевшим фотографиям можно проследить маршруты его ямальских экспедиций: Катравож — Кутопьюган — Яр-Сале — Хальмерседе. Он запечатлел октябрьскую демонстрацию у первых, еще до конца не достроенных домов в Тарко-Сале, оленью упряжку рядом с первым городским автомобилем в Салехарде, гидросамолет на Полуе, памятник Ленину в окружном центре.

Ямало-Ненецкий комитет нового алфавита выпустил две книжки. Не сложно представить, какого это стоило труда в тогдашних условиях. Это были собранные Григорием Давыдовичем «Ненецкие сказки и былины» и им же составленный «Краткий ненэцко-русский и русско-ненэцкий словарь». Обе они вышли в 1937 году. У Вербова было немало помощников, и, подписывая предисловие к словарю, он выражал большую благодарность Н. М. Собрину, Н. Нячу, И. Ф. Ного, Н. Салиндеру, научному сотруднику Салехардской зональной сельскохозяйственной станции Перелешину и директору Салехардского ветбакинститута Ревнивых.

Сказки ему помогали собирать тазовский комсомолец-ликвидатор Кагали Ненянг, заместитель секретаря Надымского райкома ВКП(б), позднее первый депутат Ямала в Верховном Совете СССР Николай Няруй, пятидесятипятiletний председатель расположенного на самом севере Ямальского «носа» Тамбейского кочевого Совета Пирчи Окатетто. В Салехарде Вербов много работал с Петром Ефимовичем Хатанзеевым, который помогал ему в переводе хантыйских названий и толковал происхождение фамилий хантов.

Книжка ненецкого фольклора заканчивается несколько неожиданно газетным призывом: «Ямало-Ненецкий окружной комитет нового алфавита обращается ко всем товарищам, работающим среди нен-

цев, с просьбой принять участие в сборе материалов по ненецкому фольклору (на ненецком языке и в переводах). Наиболее ценные и тщательно записанные материалы будут опубликованы».

Наверное, если покопаться в истории, можно найти листовки с самыми разнообразными призывами. Но, пожалуй, эта книжка-листовка с призывом собирать сказки и предания ненцев уникальна в своем роде. Вербов явно не хотел упускать ни одного шанса. Он работал с той жадностью, которая характерна для настоящего ученого. Его сравнивают с Кастреном. Оба они были высокорослы, жизнерадостны (Кастрен — несмотря на свой туберкулез), а главное — оба умели работать неистово.

Уже с фронта Григорий Давыдович писал своей недавней студентке:

«Иногда так размечаешься, что кажется, словно холод, забирающийся за ворот, ползет от основания шестов чума, из «ханэо», кажется, что сейчас послышится привычный стук, который производят олени, ударяя рогами о рога, когда подерутся, бродя ночью возле чума в поисках деликатесов. Стук раздается, но он громче и суше — разорвался очередной немецкий снаряд».

Он даже о снежной болезни, которая прихватила его в весенней тундре и вывела из строя на несколько недель, вспоминал на фронте с какой-то особенной теплотой, с какой о болезнях обычно не вспоминают. А в его старшинской полевой сумке лежал рукописный словарик, с которым он никогда не расставался и постоянно его пополнял.

Если так было на фронте — то насколько же неистощимо трудолюбив он был в мирных научных буднях!

Один из любительских снимков запечатлел его в ту пору: он в кожаном пальто (по Шмидтовской

тогдашней полярной моде), в раздобытом у пилотов шлеме. И если положить это фото в ряд со снимками прославленных полярников той поры, то уловишь нечто общее, и вовсе не в костюме, а во взгляде, в выражении, в общем каком-то настрое, который не может скрыть даже плохонькая любительская фотография. Чувствуется, что он все больше проникался мудростью тундрового народа, что все, что он делал, шло не от обязанности, а от настоящей любви. Тундровики прозвали его «паднана луда»¹.

Он работал с увлечением. Я выписал несколько загадок из собранной им книжки, и вдруг до меня донесся отголосок того чувства, которое, наверное, испытывал и он. Сидишь в чуме, пьешь чай у огонька, разожженного здесь же, и вдруг услышишь меткое словечко, сказанное просто, но с каким-то подтекстом, в котором позже обнаружишь и юмор, и мудрость, и что-то еще, что, как капля, отражает море.

«Внутри чума голый болтается».

«Тридцать мужчин друг дружке в волосы вценились».

«Всех своих соседей одним ртом пожирает».

«Травяная кочка — семь дыр».

Он разгадал эти загадки. Наверное, потому, что уже хорошо знал тундровый быт. А разгадки такие: колокольчик, шесты чума, Обская губа и ее притоки, голова.

В 1938 году в журнале «Этнография» он опубликовал статью «Пережитки родового строя у ненцев». На материалах, собранных у ненцев Ямала, Гыдана,

¹ В ненецком языке не существует термина «ученый». Исследователь заслужил от тундровых друзей титул, который можно перевести как «самый знающий русский», «бумажный русский», «пишущий русский».

Тазовского полуострова, в Большеземельской тундре, у пянхасово, он проанализировал сложные и запутанные вопросы родового и фратриального¹ деления, исследовал институт экзогамии². Он насчитал около девяти десятков ненецких родов, которые образовались в результате деления когда-то немногих основных родов, обнаружил «переходные» ненецко-хантыйские роды, получившиеся в результате скрещивания двух племен. В этой аргументированной, сухой, чистой научной статье Вербов не удержался (иного слова не подберу) и привел в качестве аргумента очень интересную сказку, которую записал в чуме Пирчи Ококетто, у которого гостил зимой 1936 года.

Впрочем, сказка ли это? В тундре, где не знали письменности, история не писалась, а передавалась устно, из поколения в поколение.

«Когда-то жили старик со старухой. Было у старика семь сыновей. Первый сын — Харючи, второй сын — Вануйта, третий сын — Волк, еще один сын — лесной медведь, еще сын — белый медведь, еще сын — росомаха, еще один сын — Минлей (мифическая птица). И отпустил старик своих сыновей в разные места. Харючи и Вануйта он дал оленей. Сыну-волку сказал: «Ты кормись оленями Харючи и Вануйты». Черному медведю сказал: «На земле питайся!» Белому медведю сказал: «Иди к морю, в воде живи!» Росомахе сказал: «Ты ведь не можешь живых зверей добывать, где найдешь падшего зверя — его и съешь! Добудут Вануйта и Харючи песца — его съешь!» Минлею сказал: «Ты своим путем иди. С разными птицами ведь справишься».

Затем расплодились они. Опять разделились. Ха-

¹ Фратрия — совокупность нескольких родов.

² Экзогамия — запрет браков в пределах родственной группы.

рючи разделил своих сыновей на десять родов: Нгокатэта, Сэротэта, Ядня, Лапсуй, Няруй, Тэсяда, Нгадер, Евай, Ябто нгэ, Тусяда. Вануйта своих сыновей тоже на десять родов разделил: Ябтик, Яр, Пуйко, Неркыхы, Сальяндер, Тысыя, Лэхэ, Вэнонгка, Марьик, Нохо. Потом каждый из этих вновь появившихся родов опять делиться начал. Так стало много родов».

К этой сказке Вербов сделал пояснение:

«Любопытно, что здесь фигурируют роды Неркыхы и Сальяндер, являющиеся по происхождению хантыйскими, но в северных тундровых районах ассимилированные ненцами».

Вербов еще застал пережитки родового строя. Но они уже уходили в прошлое: и экзогамия, когда жених мог искать невесту только в определенном роду, и наличие единых жертвенных мест и кладбищ. Встречались даже случаи левирата, когда младший брат брал в жены вдову умершего старшего брата. Но новое землеустройство и коллективизация в тундре стирали границы родов, новый быт уносил старые привычки. А для этнографа очень важно было зафиксировать то, что завтра уйдет в прошлое.

Не осталось практически ни одного уголка на территории Ямало-Ненецкого округа, где бы не побывал стремительный Вербов: от Полярного Урала до Мангазеи, от Тамбея и Гыдоямо до Сибирских Увалов. Это была хорошая школа, то, что он позднее назовет «тундровый порох»: «Есть еще тундровый порох в пороховницах!»

Вернувшись в Ленинград, Вербов был принят научным сотрудником в институт этнографии, где он работал вместе с Прокофьевым в кабинете Сибири. Старшим научным сотрудником он был утвержден уже в 1938 году. Два семестра он вел спецкурс ненецкого языка и практические занятия для

студентов этнофакультета в университете. А потом — снова большая экспедиция, маршрут, достойный Кастрена. Григорий Давыдович начал с востока, с Таймыра, работал на Хатанге, в низовьях Енисея, перебрался на Гыдан, вокруг Евая объехал этот полуостров и попал на Таз, оттуда на Надым, в Салехард, через Полярный Урал — сначала в Большеземельскую тундру, потом на остров Вайгач, в Малоземельскую тундру, на остров Колгуев, и уже оттуда в Ленинград. Вся ненецкая территория была «закрыта».

Столы и полки в небольшой ленинградской квартире были забиты папками с полевыми материалами. Надо было капитально садиться за стол: хорош не только тот этнограф, который собрал обильный «урожай» в «поле», но и тот, кто сумел обобщить его. Но приближался уже 1941 год...

Вербов продолжал читать лекции в университете, перевел две повести первого ненецкого прозаика Николая Вылки «На острове» и «Марья», пьесу первого ненецкого драматурга Ивана Ного «Шаман». После блестящего северного вояжа его пригласил к себе президент Всесоюзного географического общества Лев Семенович Берг и подписал ему билет действительного члена ВГО. На фотографии с билета явственно проглядывает молодая (с северным оттенком) бравада и некоторое щегольство бывалого путешественника.

Он молод, энергичен, стремителен, напорист. Оправдывая свою фамилию, «вербует» молодежь в ряды североведов. Его ученица Людмила Васильевна Хомич напишет ту монографию, которую не успел создать он, — «Ненцы». Антонина Васильевна Алмазова станет заведующей северной редакцией в Учпедгизе, учебники для северных национальных школ будут проходить через ее руки.

Старший научный сотрудник Вербов через двенадцать дней после объявления войны добровольцем пошел на фронт. Он делил с сослуживцами и по роте связи, и по подразделению артиллерийской разведки все положенные фронтовику тяготы.

Изредка ему удавалось выбраться в Ленинград. Сестре привез фронтовой подарок — вязанку дров, бывшую тогда на вес золота. А вот матери и отцу помочь не смог: они умерли от истощения в феврале сорок второго.

В письмах к сестре, рядом с обычным для всех фронтовых писем: «Жив, здоров, уверен, что победа будет завоевана», — деловые просьбы. Поинтересоваться, как дела со статьей «От Таймыра до Белого моря», которая должна быть опубликована в детгизовском «Глобусе»: «Один оттиск выслать мне».

И еще просьбы к сестре:

«1) Учпедгиз (Дом книги, 4 этаж, бывш. фирма Зингера). Вышли ли из печати (узнать в нац. секторе) ненецкие загадки (корректурка была) и сборник А. Тайбарая (нен. фольклор) (перевод, редакция и предисловие)? Выслать экземпляр.

2) ВГО. Демидов пер. д. 8А. В «Известиях ВГО» должна была выйти статья о Мангазее. Поинтересоваться».

Он справлялся о судьбе своих полевых бумаг: «Кто (точно) знает, где они находятся, весь ли вместе (материал. — А. О.) или разбит на части и как упакован, имеется ли пометка, что он принадлежит мне».

Статья о Мангазее, нарядный сборник детских ненецких загадок и подготовленный им к печати труд замечательного русского путешественника восемнадцатого века Василия Зуева «Описание живущих Сибирской губернии в Березовском уезде иноверческих народов» выйдут уже после войны.

Незадолго до гибели Григорий Давыдович Вербов подал заявление в ячейку ВКП(б) и стал кандидатом в члены партии большевиков.

Все, кто работал вместе с ним, знали, что это ученый с большим будущим.

Всегда тяжело, когда погибают люди. Вдвойне тяжело, когда они погибают молодыми, не свершив всего, что могли бы. Но в свои тридцать три Григорий Давыдович Вербов, настоящий подвижник науки и замечательный советский патриот, сделал то, на что иным ученым требуется целая жизнь. Ненцы, которых он изучал, мудро считают, что человек раскрывается после тридцати трех. Но есть люди, которые живут быстро и раскрываются раньше. А Вербов жил быстро.

«Когда я увидела его впервые — он вошел в комнату, — глаза мои широко раскрылись:

— Манси!

Он дверь приоткрыл, как манси, ступал по полу, как манси. Это меня поразило. Наверное, он настолько был близок моему народу, что, для себя незаметно, перенял многие наши манеры и уже от них избавиться не мог даже в столичном быту. Встречаясь с ним, я всегда с восхищением наблюдала, как он входит, как он садится, встает, выходит, и постоянно поражалась: да, это манси, хотя хорошо помнила, что он коренной москвич».

Окно квартиры в Измайлово, где живет Евдокия Ивановна Ромбандеева, смотрит на пруд. Глядя в окно, хозяйка вспоминает богатую реками и озерами родину, своего первого и главного учителя, с которым познакоми-



Глава

4

„ЛОЗУМ
ХУМ“

ВАЛЕРИИ
ЧЕРНЕЦОВ

лась в начале пятидесятих годов, когда была еще студенткой Ленинградского университета. Евдокия Ивановна — первая ученая женщина манси, кандидат филологических наук. Недавно ей пришлось переехать в столицу, потому что финноугроведческие исследования сконцентрированы в академическом Институте языкознания в Москве.

Ее землячка Матрена Панкратьевна Вахрушева — первая мансийская поэтесса. Сейчас она живет далеко от родных краев, в Ленинграде, преподает мансийский и хантыйский языки в педагогическом институте. С Чернецовым ей приходилось встречаться не только в Москве и Ленинграде, но и в тех местах, где она росла, в кондинской тайге. Ее отец Панкратий Вахрушев был одним из лучших охотников и знатоков тамошних гор и урманов. Однако когда Чернецов попросил провести его от верховий Конды до селения Няксимволь, таежник смущенно развел руками: по болотам на этом маршруте не пробирался еще ни один манси. Но Валерий Николаевич спешил, и один, по компасу, отправился в Няксимволь. Он добрался до цели и своей смелостью навсегда заслужил уважение манси¹. Еще раньше он был принят в члены мансийского рода — большая и редкая честь для пришлого человека.

— Из всех своих фотографий он предпочитал ту, на которой снят в полном мансийском облачении, — свидетельствует Ванда Иосифовна Мошинская, жена Валерия Николаевича, спутница по Мангазейской и другим многочисленным экспедициям. — Среди манси он приобрел те необходимые навыки, которые сделали из него, горожанина, настоящего таежника. На природе, какой бы дикой и безлюдной она ни

¹ Среди своих таежных друзей Валерий Николаевич был известен под именем «Лозум хум» («Человек с Лозьвы»). Это не просто имя, но и почетный титул.

была, он никогда не терялся, чувствовал себя в тайге так же уверенно и спокойно, как в своей московской квартире. Помню, как мы высаживались на берегу реки Таз, там, где некогда процветала «златокипящая Мангазея». Нас доставил на место раскопок последний, случайный катер. Петр Кыткин, местный охотник-селькуп, перевез на берег на верткой лодке-ветке. Кругом — ни одного строения.

— Где же мы будем обитать? — поинтересовалась я с некоторой озабоченностью.

— Построим землянку, — ответил Валерий Николаевич с легкостью, которую можно было принять за беспечность.

Вот-вот должен был выпасть снег. Но к первому снегопаду сносная жилистая землянка, теплая, с печуркой, и даже не без некоторых удобств стараниями Валерия Николаевича уже была готова. В ней мы прожили несколько осенних и зимних месяцев, пока не замерзли болота, по которым мы смогли выбраться в Туруханск. В небольшое становище местных охотников, расположенное в нескольких километрах от нашей экспедиционной «базы», мы ходили только в баню. Чаще же они приходили в гости к нам, вели долгие беседы. В тайге Валерий Николаевич умел сделать все, все добыть. Это был человек, с которым не пропадешь и на необитаемом острове. А ханты, ненцы, селькупы и особенно манси принимали его за своего. Его дар находить общий язык был неподражаем.

Манси — небольшая северная народность, едва насчитывающая восемь тысяч человек. Но это — самостоятельный народ, и нет, пожалуй, в его истории человека, который сделал бы больше, чем Валерий Николаевич Чернецов. Он был одним из создателей письменности на мансийском языке, создал для мансийских школьников первый букварь — «Ильпи

лоннгах» («Новый путь»). Им разработан первый грамматический очерк этого языка, составлен мансийско-русский словарь. Всю жизнь Чернецов занимался изучением этнографии таежного народа. На основе археологических раскопок им создана глубокая концепция древней истории манси и родственных ему народов Нижнего Приобья. Большая монография Чернецова посвящена культурному наследию предков таежников, народа, который в царские времена официально именовался «диким».

Вся деятельность Валерия Николаевича проникнута чувством неизбежного уважения к мужественному северному племени, стремлением вывести его из состояния социального анабиоза, возродить к новой жизни. Но интересы Чернецова не ограничивались только изучением манси. Он оставил заметный след в истории исследования ненцев, хантов, первых русских сибиряков.

Ранний этап его биографии чем-то напоминает юность Прокофьева. Отец Чернецова также был крупным архитектором и по наследству передал сыну явные художественные способности. Окончив гимназию, юный Чернецов не мог сразу определить свой жизненный выбор. Его влекла техника, сутками напролет он мог возиться с моторами, приборами, механизмами (в зрелые годы ему доставляло большое удовольствие иметь старый драндулет неизвестной марки, который ездил меньше, чем ремонтировался). Один из родственников устроил недавнего гимназиста в геодезическую экспедицию, которая отправлялась на границу Европы и Азии. Так Валерий впервые попал на Северный Урал. Геодезисты два сезона работали в районе расселения вогулов, на берегах Ляпина, Лозьвы и их многочисленных притоков. Места малолюдные, малонаселенные, общаться приходилось только с местными жителями.

Но, кажется, московскому геодезисту это правилось. Ко второму сезону он уже вполне сносно разговаривал на диалекте лозьвинских охотников. Быт, нравы, обычаи, традиции коренных северян были столь поразительны, настолько увлекли юношу, что стремление заняться этнографией победило в нем страсть к технике. Это стремление «усугубил» Богораз-Тан, с которым двадцатилетний геодезист познакомился через Самойловича. Чувство возникшего уважения было взаимным — ленинградскому профессору пришлось по душе «технократ», быстро овладевший языком, который в столице, кроме него, никто не знал. С энтузиазмом, ему присущим, Богораз начал агитировать Валерия поступить в географический институт. Долго уговаривать не пришлось, и Валерий простился со своими родными, переехал в Ленинград, где начал слушать лекции на этнографическом факультете у Богораза и Штернберга.

Его непоседливый характер хорошо вписывался в учебную практику тогдашнего этнографического факультета. Студент должен был проводить как можно больше времени среди народа, который он избрал для изучения. Свои первые студенческие каникулы Чернецов проводит в экспедиции на Лозье и Сосье. Зимой 1926 года он вновь едет в любимившиеся места, чтобы принять участие в Приполярной переписи. Студенческий журнал «Этнограф-исследователь» особо отметил его работу: «В особенно трудных условиях приходилось студентам-этнографам работать на северных окраинах, куда вообще не было желающих ехать на перепись, особенно таких, кто бы знал туземную жизнь и язык. Студенты Чернецов, Каминский и Котовщикова работали у вогулов и остяков. Сильные морозы, кочевое население, обширность и безлюдность территории, отсутствие

проложенных дорог ставили нередко статистиков-этнографов в безвыходное положение, и только ценой огромных усилий удалось провести перепись даже в самых дальних углах».

Лето 1927 года (Валерию исполнилось всего двадцать два года) застаёт его за подготовкой к новой экспедиции. На этот раз вместе с зоологом Константином Ратнером и антропологом Натальей Котовщицкой ему предстоит добираться до мест, где до них не бывал ни один археолог. За главного в этой студенческой экспедиции была Наталья, она училась на два курса выше, специализировалась в ЛГУ на кафедре сравнительной анатомии и антропологии.

Вряд ли современным студентам поручат столь трудное и ответственное предприятие. Пожалуй, такое было возможно лишь в двадцатые годы, в пору смелых педагогических экспериментов. Видится в этом и энтузиазм Богораза, который осуществлял научный патронат над Североямальской экспедицией. С присущей ей дотошностью Наталья Александровна готовилась к длительному путешествию, консультировалась у известных знатоков. Особенно внимательно слушали молодые исследователи советы профессора Б. М. Житкова, который провел на Северном Ямале две зимы и одно лето.

Богораз был сторонником идеи «единого протоазиатского элемента» — он считал, что в формировании северных народов в древние времена принимал участие некий единый от Кольского полуострова до Чукотки и Камчатки этнос. Эта идея привлекла и Чернецова. Изучая ненцев Ямальского Севера, которых особенно не коснулось влияние русской и других цивилизаций, он хотел найти следы этого древнего корня.

В специальной инструкции профессор рекомен-

довал особо заниматься фольклором, «анализ которого, — подчеркивал он, — может дать совершенно новые данные для изучения более древнего быта самоедов и, возможно, даст какие-нибудь указания о связи их современной культуры с культурой палеоазиатской».

Гидрографическое судно «Полярный» подбросило небольшую экспедицию из Архангельска на западное побережье Ямальского полуострова, на радиостанцию Марра-Сале, откуда на оленях предстояло попасть на факторию Дровяная. Фактория считалась местом «относительной оседлости». Да, среди тундрового океана безлюдья это действительно был небольшой «обитаемый остров» — здесь, на берегу Обской губы, пересекались маршруты касланий нескольких оленеводческих стойбищ, можно было встретить людей, нанять проводника и транспорт — ездовых оленей.

Каждый из участников экспедиции, определив свои задачи, начал самостоятельные маршруты. В разговорах со своими проводниками Валерий Николаевич услышал о «моржовом мысе» — Тиутей-Сале и поспешил к Карскому побережью полуострова. Судя по рассказам тундровиков, мыс был облюбован не только моржами, здесь в песке кочующие оленеводы находили весьма интересные вещи. Пастухи вовсе не были любителями древностей, а просто искали медные и железные вещи. Чернецов понимал, что едет на уже потревоженный памятник, но еще немного — и можно было опоздать совсем. Но тундровики оказались никудышными кладоискателями. Чернецову улыбнулась студенческая удача — он сразу наткнулся на две временные стоянки, а вскоре обнаружил и остатки землянок. На морских дюнах, в песке, при внимательном исследовании Чернецов нашел обломки глиняных сосудов,

скребло из тонкой пластинки, обломки плитняка со следами сверления, черепки посуды. Культурный слой — пласт слежавшейся древесной щепы, обгорелых костей, лоскутов кожи, обломков китового уса — достигал двух десятков сантиметров, что, учитывая высокоширотное местоположение древнего жилища, следовало считать значительным. Было в раскопках много костей, в основном — моржей, чуть меньше — тюленей. А вот кости оленей и песцов встречались скорее как исключение. Молодой исследователь отнес дюнные стоянки к временным лагерям охотников на морского зверя. Стоянки явно использовались только во время промыслового сезона. В заключении был резон: следов стабильного жилища не обнаружилось, а множество костей могло свидетельствовать о том, что на здешних берегах шла первичная обработка пойманного зверя — моржа и тюленя.

Зато чуть севернее, где сливаются небольшие северные речушки Сэр-Яха и Тиутей-Яха, раскопки недвусмысленно указывали на то, что здесь люди обитали достаточно долго. Чернецов не мог не отметить, что древние обитатели этих мест очень разумно выбирали место для поселения. Все три землянки находились на небольших мысках, образованных изрезанными краями берегового обрыва. В заболоченной тундре лишь эти участки постоянно оставались сухими.

«Расположение поселения в устье крупной реки имело, вероятно, — предположил тогда Чернецов, — то преимущество, что весной, промывая полосу берегового припая, река рано создает выход в море, тогда как в других местах берега прибрежный лед долго стоит сплошной двухкилометровой грядой торосов».

Тонкой логичности этого наблюдения позавидо-

вал бы, по всей вероятности, и гораздо более опытный северный археолог. Но взгляд двадцатидвухлетнего студента был зорок, а ум мог соотнести приметы арктической архаики с окружающей природой.

Оленеводы-железоискатели основательно перерыли песок, но все же кое-что осталось и науке: были найдены различные предметы утвари не только из кости и камня, но и из железа и бронзы — наконечник стрелы вильчатой формы, кольцо, обломок ножа. Явственно чувствовалось, что металл уже глубоко вошел в быт древнего населения этих мест. («Этот факт, — позднее запишет Чернецов, — в значительной степени опровергает антиисторическую концепцию о якобы существовавшей «костяной» культуре племен Крайнего Севера, сохранивших неолитический образ жизни бесконечно долго, а местами и до недавнего прошлого.») На обломках керамических изделий, горшков и мисок, исследователя прежде всего заинтересовали орнаменты и формы лепки, те необходимые признаки, по которым можно определить время изготовления.

Как в землянках, так и вокруг них, было обнаружено много костей, как морских, так и сухопутных животных. Зафиксировав все это, приплюсовав то, что культурный слой был мощным, а способ постройки производил впечатление капитальности, Чернецов сделал первоначальную прикидку: «Землянки на Тиутей-Сале представляют из себя место более или менее длительного поселения».

Раскопки на «моржовом мысу» пришлось закончить неожиданно. «Известие о внезапной смерти моего товарища по экспедиции Н. Котовщиковой, — читаем мы в чернецовском отчете, — заставило меня бросить начатую разведку и выехать к месту ее смерти на мысе Хаэн-Сале».

На мысе Хаэн произошла трагедия. Наталья Александровна по стечению драматических обстоятельств оказалась в одиночестве, отрезанная пургой от ближайшего людского жилья. Записи в дневнике свидетельствуют о том, что она заболела скоротечной цингой. Трудно сказать, помогло ли бы, если бы рядом находился кто-то из друзей или тундровиков: ведь больной требовалась незамедлительная квалифицированная помощь, а рассчитывать на нее в ямальском безлюдье (на весь гигантский полуостров в ту пору не было ни одного врача) не приходилось. Судя по дневниковым записям, молодая исследовательница встретила свой последний час достойно и мужественно, призывая друзей закончить начатое ею.

Трагическая эта история, редкая даже для Арктики — подтверждение того, что дорога, избранная Чернецовым, была не только нелегкой, но и опасной. Смерть угрожала каждому, кто пробирался в негостеприимный край. Открытия в Арктике, с которыми вернулся в Ленинград Валерий Николаевич, дались нелегко.

Поставив скромный крест из плавучего леса на с трудом вырытой в вечной мерзлоте могиле, Чернецов и Ратнер продолжили исследования. Они не были виновны в гибели своего товарища, но каждый упрекал себя за то, что в трудную минуту не оказался рядом с Наташей. В такой психологической обстановке продолжать научную программу исследований было нелегко, но Валерий и Константин продолжали дело не только потому, что нужно было дожидаться морского транспорта, но потому, что хотели выполнить последнее завещание умершей.

Крутой мыс Хаэн-Сале, резко врезающийся в пролив Малыгина, оказался богат находками: Чернецов обнаружил целый поселок живших некогда

в этих заполярных местах звероловов. Опять ему пришлось отметить, что древние поселенцы выбрали очень удобную стоянку для жилья. Место сухое, и хотя кругом располагалась ровная, как стол, безлесая тундра, море в изобилии выносило плавник на берег пролива. Груды стволов покрывали берег на добрую сотню метров, здесь, видимо, задерживалось все, что выносили в море сибирские, а возможно, и европейские реки.

Семь землянок оказались совершенно не тронутыми «кладоискателями», что привело Чернецова в естественный восторг. То, что на Тнутей-Сале можно было лишь предполагать, здесь представлялось вполне возможным реконструировать. Хотя, конечно, неутомимый бег времени ничего не сохранил в целостности. Землянки были невелики, до десяти шагов в диаметре. Углублялись они в песок всего на полметра-метр. Свод их составляли бревна, поставленные, как остов чума, конусом. Посреди находилась крепкая подпорка. Судя по всему, кровля засыпалась землей, дерном. Вход в жилище, скорее всего, представлял собой крытый коридор, метров до двух длиной. Убранство землянки, вероятно, было просто и бесхитростно: середину занимал очаг, о чем свидетельствовало кострище. Левая и правая стороны отводились под постели. Место за кострищем у задней стены, где археолог чаще всего обнаруживал предметы домашней утвари, по всей вероятности, предназначалось хозяйке.

В раскопках Чернецов обнаружил много костей. Но — странное дело — они не перемешивались, а были сложены отдельно, аккуратными кучками. О чем это могло свидетельствовать? Объяснение, видимо, следовало искать в религиозных верованиях и обрядах. Находя предметы из меди и железа, камня и оленьего рога, китового уса и рыбьей кости

(клин из кости кита для раскалывания дерева, китовое грузило, сточенный железный нож, кусок кольчуги, ромбические перки для лучковых сверл, пластинки для стрельбы из лука), Валерий Николаевич отметил, что не встречает деревянных изделий. Все они, очевидно, сгнили.

Не обнаружил в землянках Чернецов и каких-то следов керамических изделий. Но найденные дужки от медных и железных котлов, медная проушина от котла солидных размеров и край медного же котла подсказали ему ответ: «Появившаяся в большом, достаточном количестве металлическая посуда совершенно вытеснила несовершенную керамику».

Находок было много. Чего стоили такие редкие вещи, как эполетообразная застежка с изображением медведя, бляха-птица, бронзовая подвеска с растительным орнаментом, топор со своеобразным овальным обухом! Предстояло определить — кому же они принадлежали, эти остроугольные камни, которые древний охотник использовал как наконечники стрел, изоржавевшие полоски металла, которые некогда были острыми ножами? Когда все это служило человеку, что это был за человек, на каком языке он разговаривал и сохранился ли этот язык до нашего времени?

Чернецов вернулся в Ленинград с подлинно научной сенсацией: раскопан ценный археологический памятник, да не где-нибудь, а за семьдесят второй арктической параллелью! Естественно, специалисты о находках на самом севере Ямала узнали тотчас — Богораз такие вещи в секрете держать не мог. Но для тех, кто изучает биографию Чернецова, представляет немалую загадку, почему же он не спешил с опубликованием сенсационного материала: ведь пройдет целых шесть лет, прежде чем наконец-то в журнале «Советская этнография» появится его

статья, названная скромно, но и весомо — «Древняя приморская культура на полуострове Я-мал».

В списке опубликованных Чернецовым в эти годы работ много учебников для мансийской школы. Конечно, они отнимали много времени. Но наверняка не только поэтому не спешил Чернецов — уже доцент — с ответами на вопросы, которые он поставил себе.

Шло созревание ученого, шло интенсивное накопление опыта. Раскопать арктический памятник мог и молодой исследователь, не всякий, естественно, но такой, как Чернецов, мог. Однако интерпретировать находки по силам было только сложившемуся ученому. Чернецову хватило этих шести лет, чтобы в свои тридцать подтвердить репутацию сложившегося, блестящего аналитика.

Валерий Николаевич выделил особенности «западно-приморской», как он ее назвал, культуры, насчитав таких особенностей шесть. Прежде всего, это развитый морской зверобойный, в первую очередь моржовый, промысел. Весьма существенными были и оседлые зимние поселения в землянках, как правило, расположенные в устьях речек и на морских мысах. Древние поселенцы использовали в качестве строительного материала китовую кость, пользовались глиняной посудой и изделиями из кости. Отличительными признаками являлись также костяной гарпун с насадом в костяную трубку и глухой кожаный каяк, похожий на современную байдарку.

Имея на руках такие «карты», можно было раскидывать пасьянс достоверной научной гипотезы.

Еще на Ямале Чернецов пришел к выводу, что север полуострова населяли охотники на морского зверя. Значительное место в их промысле занимала и охота на дичь. Оленеводством они не занимались. Скорее всего, на оленей только охотились — об этом

говорил сам выбор поселения на мысе Хаэн. Два раза в год дикие олени здесь, в узкой западной части пролива Малыгина, перебирались на остров Белый, весной они двигались на север, а осенью возвращались на материк. Охотник, даже с луком и каменным наконечником стрелы, мог хорошо поохотиться.

На рыбный промысел указывали только косвенные признаки — стоянки в глуби тундры находились только на берегах речек и «живых» озер. Наверняка летом тиутейцы и хаэнсалинцы уходили от берегов, охотились на дикого оленя, линного гуся и, несомненно, рыбачили.

К какому этносу отнести бывших хозяев раскопанных землянок? Один вывод для Чернецова уже в 1929 году был безусловен: жилища на берегу пролива Малыгина не принадлежали ненецким (если точнее — «чисто» ненецким) племенам. Тогда кому же?

Гипотезу на этот счет Валерий Николаевич смог высказать лишь после того, как внимательно изучил ненецкий фольклор, материалы других археологических экспедиций, работавших на Севере, прочел опубликованные отчеты мореплавателей, бывавших здесь, начиная с шестнадцатого века.

Специалисты, занимавшиеся народами Севера, к тому времени уже более века знали о каких-то, некогда живших и каким-то образом исчезнувших аборигенах Арктики, которые в письменных документах фигурировали под именами «борандайцев», «новоземельцев», «чуди», а в ненецком фольклоре именовались «схиртя», «сиирти». Конкретности в этом запутанном вопросе не существовало, и скептически настроенные исследователи, не стесняясь, называли эти свидетельства и предположения «вымыслом» и «баснями».

Чернецов же сразу и почти безоговорочно поверил тому, что писал о своих северных современниках французский медик Пьер де ла Мартиньер. И это было серьезной научной смелостью. Хотя русский ученый В. Семенович тщательно проанализировал ламартиньерово «Путешествие в Северные страны» и отделил злаки от плевел, до полной реабилитации обвиненного в мюнхаузенстве французского доктора было еще далеко. Чернецов же реабилитировал его новыми фактами. Описания француза, побывавшего на Сибирском Севере в середине семнадцатого столетия, и данные чернецовских раскопок совпадали!

«Дома эти, — писал европейский вояжер о землянках, которые встретил в тундре, — сделаны из древесных ветвей и покрыты дерном, очень низкие: свет проникает только через дверь, устроенную на подобие устья печи».

Подтверждалось и то, что землянки укрывали дерном, что окон в них не существовало, что остов такого жилища делали из больших китовых костей.

Описания ла Мартиньера свидетельствовали и о том, что аборигены пользовались в основном изделиями из моржового клыка, камня, китовой кости, дерева.

По всей вероятности, ла Мартиньеру посчастливилось последнему из пишущих европейцев наблюдать самых древних насельников — автохтонов приморских северных тундр. Но репутацию автору «Путешествия в Северные страны» испортили его издатели: книга пользовалась бешеным спросом, а чтобы повысить и так значительные тиражи, издатели в разных странах присовокупляли к ламартиньерову описанию (уже и после смерти автора) собственные небылицы, что и заставило позднейших исследова-

телей вообще усомниться в правдивости автора и достоверности его «Путешествия».

Но Чернецов сам видел то, о чем когда-то писал медик из Руана, мог сопоставить данные своих раскопок с наблюдениями путешественника.

Археологу надлежит быть хорошо эрудированным специалистом во многих областях. Кажется, именно по этой причине не торопился в течение шести лет Валерий Николаевич обобщать свои находки. Что скажет непосвященному ненецкая загадка, с которой Чернецова познакомил его молодой коллега Григорий Вербов: «Хале хэвка малви» («Китовые ребра чумом сделанные»)? Разгадку знают даже юные тундровики: жерди чума. Но только серьезный исследователь увидит в этом образце народного творчества следы давней реальности, того, что когда-то было обычным, а исчезнув из повседневного быта, превратилось в загадку. Вот по каким крупницам порой должен пробиваться к своим обобщениям ученый. Чернецов нашел подтверждение своим догадкам в археологических находках других исследователей — Кольса, который работал в низовьях реки Таз, академика Шмидта на Кольском полуострове, Редрикова, ведшего раскопки в районе Обдорска. Все это позволило тридцатилетнему ученому сделать несколько выводов, которые для тогдашнего финноугроведения звучали не совсем привычно:

«Существовавшие некогда на крайнем севере Урала и Оби древние аборигены после прихода на эту территорию новых этнических групп (угров, ненцев) были ассимилированы, что, с одной стороны, привело к возникновению новых племен, а с другой — к полному исчезновению прежних насельников, как самостоятельной этнической группы».

«Смена культуры, — считал Валерий Николае-

вич, — протекала не одновременно на всем протяжении указанной территории. На северном Я-мале она закончилась, по-видимому, лишь в семнадцатом веке».

Чернецов сделал предположение, что кровь древнейших охотников на морского зверя есть не только у современных ненцев, но и у их южных соседей — ханты и манси.

Через десятилетие, обобщая свои знания по древней истории Нижнего Приобья и определяя значение своих североямальных находок, Чернецов выдвинул идею конвергентного развития северных племен Евразии. В отличие от Прокофьева и Бого-раза он стал считать, что существовал не единый этнический праэлемент, а единство жизненных условий создало предпосылки для одинаковых способов приспособления к среде.

«Хозяйство, материальная культура, вероятно, и быт древних обитателей побережья Ямала были близки хозяйству, культуре и быту эскимосов и сидячих чукчей, — писал он. — Очевидно, на всей территории арктической ойкумены при сходстве условий и близком развитии техники были и могли возникнуть очень близкие формы материальной культуры и хозяйства».

Работа исследователя, археолога в особенности, напоминает работу криминалиста. Но если криминалист ищет следы и разгадывает тайны, которые загадывает ему разыскиваемый преступник, то археолог занимается расшифровкой тех тайн, которые загадали века. Но, как и криминалист, он должен по мельчайшим подробностям, материальным сколкам дать по возможности полный и обстоятельный ответ на то, как жили древние люди, кто они, чем занимались, откуда пришли, почему не оставили более существенных следов?

В 1940 году Чернецов переедет из Ленинграда в родную Москву и немало удивит коллег. Но не своим переездом, а своим переходом. Из института этнографии, где он уже два года заведовал сибирским отделом, он перейдет в Институт истории материальной культуры — заведение чисто археологического профиля. Археология и этнография — дочери одной науки истории, но каждая из них достаточно далеко ушла от другой, чтобы такие переходы можно было считать естественными. Однако для Чернецова это был не только естественный, но и неизбежный переход. Не потому, что он исчерпал свои этнографические аргументы (этнографических занятий он не бросал до конца своей жизни, оставался членом редколлегии журнала «Советская этнография»), но потому, что для дальнейшего пути ему требовались более точные методы. Первая археологическая — Североямальская — экспедиция убедила его в том, что археология такими методами располагает. Рассказывают, что один остроумный коллега назвал Валерия Николаевича «шпионом» и, когда тот поинтересовался, почему же — ответил: «Как же? — по известной формуле: контрразведчик — «свой среди чужих, чужой среди своих».

Да, некоторые узконаправленные специалисты понимали широту чернецовских интересов именно так. Но если проследить прямую его творчества, то можно заметить, что методы действительно были разные, а задача — одна.

Но в 1929 году Чернецов еще студент. С Северного Ямала он возвращается с речным караваном Карской товарообменной экспедиции, сначала попадает в Тобольск, потом в Тюмень. В Свердловске — остановка. За начальника экспедиции ему приходится отчитываться перед одним из организаторов их экспедиции — Уралгосторгом. В Москве

отчеты перед другими «учредителями» — Центральным конвекционным пушнозаготовительным бюро Народного комиссариата труда, Росгосстрахом и Управлением лесов наркомзема. Студенческая экспедиция занималась практическими вопросами, исследовала состояние оленеводства, пути кооперативного строительства, изучала возможности развития зверобойного промысла, страхования оленей и собак. Велись экономические, статистические и социальные исследования. Учредители экспедиции вовсе не собирались покровительствовать науке бесплатно. Последний отчет состоялся в декабре, уже в Москве, на бюро Комитета Севера.

До окончания курса в университете (географический институт стал факультетом ЛГУ) Валерий Николаевич успел съездить в еще одну большую экспедицию. Полярная комиссия АН СССР организовала Коми-Печорскую экспедицию, в составе которой Чернецов занимался исследованиями для составления карты Большеземельской тундры.

В год окончания университета (1930) ему всего двадцать пять лет. Но это не тот неоперившийся выпускник, которому предстоит сделать серьезный выбор — ведь к его знаниям, которые гарантирует диплом университета, нужно присовокупить опыт более чем двухгодичных исследований в «поле»: в горах Северного Урала, в тундрах Ямала и Баренцева побережья. Кошкин с его чутьем на квалифицированных энтузиастов конечно же не мог не заметить дипломанта с явным северным уклоном и сделал все, чтобы Валерий Николаевич распределился в научно-исследовательскую ассоциацию ИНСа. Новый аспирант сразу же попал в гущу событий на «языковом фронте». Валерию Николаевичу достался мансийский «участок» — в Ленинграде не было специалиста, лучше его владевшего этим

языком. Но, чтобы создать первый мансийский букварь, Валерий Николаевич решил еще раз съездить к своим северным друзьям. На этот раз в мансийскую тайгу он ехал не один, а с женой. Ирина Яковлевна была родной сестрой Константина Ратнера, его спутника по Североямальской экспедиции. Она преподавала в ИНСе. По свидетельству знавших ее, это была хрупкая, даже изнеженная женщина. Видимо, сказывалось воспитание: она долгое время жила во Франции. Знакомые Ирины Яковлевны были шокированы известием о том, что она уезжает в глухую тайгу, где живут неведомые цивилизованному миру вогулы. Однако эта субтильная женщина не просто хорошо перенесла трудное путешествие, а увлеклась новым делом. Весьма способная к языкам, она быстро выучила мансийский и позднее написала несколько методических пособий по его преподаванию, собирала мансийский фольклор и занималась переводами детской литературы для маленьких северян.

В 1932 году Государственное учебно-педагогическое издательство выпустило одну за другой две книги Валерия Чернецова. Они были похожи друг на друга: при издательстве работала специальная «бригада» художников, которая занималась оформлением северных учебников, среди них такие известные мастера детской книги, как Е. Чарушин, Ю. Васнецов, В. Курдов, Е. Эвенбах. Они и оформили чернецовские труды: «начальную мансийскую учебную книгу» — букварь «Новый путь» и «книгу по обучению грамоте для начальных школ Севера» — «Советский Север» (составлена совместно с Л. Ришес). Были в учебниках и рисунки самого Валерия Николаевича.

Как и в других букварях, маленькие северяне-манси находили в книге, написанной «лозум хум»,

необходимые сведения о родном крае и стране, о том, что только входило в жизнь их родителей: кооперативе, Совете, колхозе, клубе, узнавали, что такое завод, аэроплан, автомобиль, школа, Комитет Севера. В специальном послесловии (для современного букваря это выглядело бы несколько странно-вато) автор приносил глубокую благодарность Кириллу Николаевичу Сампильталову, облегчившему, по словам Чернецова, «своею помощью выполнение настоящей работы».

Двадцативосьмилетний Кирилл Сампильталов из крохотного мансийского становища Яны-пауль был постоянным спутником Валерия Николаевича. Один из первых национальных активистов (он окончил курсы советских работников в Березово), Кирилл Николаевич довольно сносно владел русским, и в затруднительных ситуациях Чернецов всегда мог рассчитывать на его помощь. Несмотря на свою молодость, Сампильталов был непревзойденным рассказчиком народных преданий и сказок. Позднее, издавая «Вогульские сказки», Чернецов напишет о своем помощнике: «человек несомненно одаренный, один из лучших сказочников», отметит «исключительную живость и непринужденность в бытовых рассказах».

«Новый путь» сразу получил одобрение и учителей, и учеников, ибо был построен на живом материале, хорошо учитывал особенности мансийского языка.

Лингвистический и учебно-методический период в биографии Чернецова приходится на годы его работы в Институте народов Севера и в педагогическом институте имени А. И. Герцена (с 1934 года он доцент этого института на кафедре языков и этнографии народов Севера). В эти годы он выпускает «Конспект мансийского языка», «Краткий мансийско-русский словарь. С приложением грамматиче-

ского очерка» (в соавторстве с И. Я. Чернецовой), «Книгу для чтения». В сборнике памяти В. Г. Богораза публикуется его блестящая лингвистическая статья «Термины средств передвижения в мансийском языке», а в первом томе «Языков и письменности народов Севера» публикуется его очерк мансийского языка.

Кандидат филологических наук Е. И. Ромбандева, которая считает себя продолжательницей языковедческих исследований Чернецова, высказала такое мнение:

— Небольшой этот грамматический очерк о моем родном языке я восприняла как энциклопедическое произведение. И в первый раз, и перечитывая позднее, я всегда поражалась, как он в сравнительно короткий срок сумел все уловить, определить особенности морфологического и фонетического строя. Вот уже почти три десятилетия я изучаю родной язык, но это только углубление того, что сделал Валерий Николаевич. В своем очерке он дал краткую программу по мансийскому языку, ее можно углублять, расширять, в чем-то уточнять, но не опровергать. Таково было его безупречное чувство языка, он понимал его лучше, чем многие манси.

Лингвистический период, показавший, что Валерий Николаевич мог стать большим филологом, займись он языком основательно, длился пять с небольшим лет. Последние его языковедческие статьи были опубликованы, когда он уже перешел в академический институт этнографии. В эти же годы в Детгизе вышло несколько переводных книжек Валерия Николаевича, а на мансийском — детские сборники «Наши сказки», «Про мышонка», «Три сказки». Издательство «Художественная литература» выпустило в 1935 году сборник фольклора «Вогульские сказки».

Эти сказки собраны и обработаны Чернецовым. Богораз предпослал этой книге научное предисловие, в котором обронил свое знаменитое изречение: «Фольклор — это словесные документы бесписьменных народов». Книга была оформлена самим Чернецовым рисунками «по мотивам вогульского орнамента и графики».

Как и в лингвистических исследованиях, Валерий Николаевич очень быстро сумел уловить главное в устном народном творчестве манси. «Мансийский фольклор, — писал он, предваряя сборник, — творчество, отражающее в основном распад материнского рода, но также включающее в себя отдельные моменты, характеризующие и более ранние этапы общественного развития».

Но строгий рационалист в исследователе Чернецове органично уживался с натурой эмоциональной, тонко чувствующей. Здесь необходимо отметить характерную деталь: в многочисленных этнографических работах Чернецова не найдешь слов, которые совсем недавно, не стесняясь, по отношению к северным племенам употребляли русские ученые: «дикари», «примитивные народы», «первобытные племена». Эти клички фигурировали в ученых трудах и спустя многие годы после революции. Чернецов же не употреблял этих оскорбительных терминов потому, что слишком хорошо знал северных аборигенов и конечно же не мог согласиться с диким утверждением о «дикости» российских «инородцев». Эти небольшие народы обладали высокой степенью приспособляемости к суровейшим условиям (смогли бы в таком климате выжить более «цивилизованные» народы?), их материальная культура и творчество свидетельствовали о большом нравственном и творческом потенциале. Небольшой сборник «Вогульских сказок», любовно собранных и тщательно обра-

ботанных Валерием Николаевичем, наглядно говорил об этом.

Наверное, фольклористу, особенно тому, кто собирает сказания не своего родного народа, трудно выразить себя в чужом творчестве. Но, читая «Вогульские сказки», как бы чувствуешь лукавую улыбку Валерия Николаевича, с которой он слушает забавную мансийскую историю, полную мудрого народного юмора.

Не Чернецову принадлежат слова: «Что за прелесть эти сказки!» — но постоянно ощущаешь его восторг перед блесками веселой мудрости лесного народа.

В сказке «Опоясывание земли», рассказанной Кириллом Сампильталовым, приводится мансийская версия появления Урала.

«Сверху-Идущая-Крылатая-Кальм обратилась к Нуми-Торуму:

— Кожистая земля наша, все качается, на месте не стоит. Когда люди на ней появятся, как на ногах стоять смогут? Верхний дух, отец мой, землю нашу укрепи, каким-нибудь поясом опояшь».

«Хозяин верхнего мира», Нуми-Торум, вообще-то довольно равнодушный к людским нуждам, на этот раз согласился с доводами.

«Пояс его тяжелыми пуговицами украшен был. Земля в воду глубоко осела и неподвижной стала. На том месте, где пояс лег, теперь Уральский Хребет. Это земли самая середина».

Сколько изящества в этой гипотезе происхождения «Каменного Пояса»!

В становище на Лозьве Валерий Николаевич познакомился с сорокалетним Павлом Елесиным, бывшим председателем сельского Совета в Сортынье. Много времени прошло («котел рыбы сварить можно» — по мансийскому времяисчислению), прежде

чем Павел поведал приезжему путешественнику несколько сказок. Тогда Чернецов записал очень любопытную историю «Как человека сделали». История появления человека на земле, по этой версии, выглядела так. Тапал-ойка, брат Нуми-Торума, изготовил семь человек из лиственницы, Хуль-Отыр слепил «великолепную семерку» из глины. Нуми-Торум, арбитр в этом конкурсе, предпочел глиняный вариант.

— Глиняные люди живыми стали. — В голосе рассказчика звучит явное осуждение. — Только век их недолог, глиняные ноги куда годятся? В воду человек упадет — тонет, жарко станет — из него вода выступает. Из лиственницы сделанные люди крепче были бы и в воде бы не тонули.

Сбором фольклора Чернецов занимался недолго, но это был необходимый этап в его биографии ученого. Он был нужен не просто потому, что в этих «словесных документах бесписьменного народа» скрывался огромный пласт знаний и представлений манси о мире, природе и человеке, но и для того, чтобы исследователь проник в душу народа.

Четыре тома мансийского фольклора, которые в конце девятнадцатого века собрал венгерский энтузиаст Бернард Мункачи, были в общем-то недоступны широкому читателю, поэтому небольшая книжка, подготовленная Чернецовым, сделала свое полезное дело: она демонстрировала богатый духовный потенциал северного народа, разрушала сложившуюся за века царской власти шовинистическую легенду о таежных «дикарях».

В 1935 году Валерий Николаевич переходит в Институт этнографии АН СССР. Но интересы его чисто этнографическими не назовешь. Скорее, наоборот. Не успел он оформить свой перевод, как тут же собрался в Березовский район, в... археологическую

экспедицию. Это была одна из самых плодотворных поездок.

Когда погода не позволяла производить раскопки (стоял уже снежный октябрь), Валерий Николаевич занимался этнографическими описаниями. В преддверии Октябрьских торжеств он помог неопытным советским работникам Саранпауля провести праздник — подобных мероприятий он никогда не чурался. В начале декабря, надежно экипировавшись, встав на лыжи и погрузив свой тяжелый груз на нарту, он двинулся к Ивделю, откуда можно было рассчитывать выбраться в Свердловск. Очередным научным визитом в Сибирь он был доволен:

«Проведенные археологические работы, несмотря на их фрагментарность, все же дают возможность сделать определенные выводы, в особенности при привлечении этнографических и фольклорных данных».

Принято считать, что Чернецов начинал как этнограф, а заканчивал как археолог. Однако четкого деления провести, пожалуй, нельзя, ибо такого деления не существовало в самой природе исследовательского таланта Чернецова. Но именно с середины тридцатых годов прослеживается та последовательность, с которой Валерий Николаевич ведет расшифровку древностей севера Западной Сибири.

Существовало немало сугубо личных причин для переезда Валерия Николаевича из Ленинграда в Москву, но определяющим было все же его стремление работать в Институте истории материальной культуры, который стал к этому времени центром археологической деятельности.

Авторитет Чернецова был высок, но археологи все же относили его к этнографам (так же, как и этнографы числили его по разряду археологов). Но эта двугранность давала Валерию Николаевичу из-

вестные преимущества — широту кругозора, умение взглянуть на какие-то исторические явления более углубленно... Это позволяло ему за «деревьями» отдельных находок видеть «лес» всего исторического, скрытого временем процесса.

В Московском отделении Института истории материальной культуры Чернецов появился в начале 1940 года. Ученый секретарь МО ИИМК, ныне покойный доктор исторических наук Отто Николаевич Бадер, вспоминал:

— Мы сразу поняли, что в коллективе появился незаурядный коллега. Это был и интересный человек, и интересный исследователь. Его идеи и сопоставления всегда были несколько неожиданны — они могли появляться только у ученого, который стоит на стыке нескольких специальных наук. Как ученый Валерий Николаевич был исключительно щедр, никогда не старался «зажать» свою идею, наоборот — охотно делился с товарищами по институту, с приезжими коллегами из провинции, с молодежью, студентами... Зная его увлекающуюся натуру, можно понять, почему у него было немало последователей и учеников, хотя он никогда не преподавал.

Все предвоенные годы Чернецов регулярно появляется в сибирском Приуралье. В те времена страсть к «остепенению» среди ученых еще не приняла эпидемического характера, и Чернецов, кажется, совсем не торопился защищать кандидатскую диссертацию: он никогда не питал любви к различным формальностям, считая, что может существовать уважение к имени ученого, а не к его званию. Но вскоре обстоятельства заставили его засесть за диссертацию.

Здоровье не позволило ему попасть и в действующую армию, и даже в ополчение, в которое ушли многие коллеги. Об экспедициях в эту суровую для страны родину думать не приходилось. Валерий Ни-

колаевич выполнял роль ученого секретаря Московского отделения, занимался текущими делами института, проблемами ученых, оставшихся в столице и уехавших в эвакуацию. А 27 мая 1942 года на заседании ученого совета исторического факультета Московского госуниверситета состоялась защита его кандидатской диссертации. Эта работа, как писал сам соискатель, представляла собой «первую попытку обобщить все материалы по истории племен, населявших и населяющих Среднее и Нижнее Приобье». В монографии прослеживались «основные этапы истории Приобья от древних времен до десятого века нашей эры».

Сейчас многие положения чернецовской классификации, естественно, уточнены — проходит время, приносит новые археологические находки и материалы. Но главные направления, развитые в этой кандидатской, не потеряли научного значения и сегодня.

По мнению Чернецова, таежная полоса Северного Приобья начала заселяться в первом тысячелетии до нашей эры. С «известной осторожностью» исследователь относил первые поселения к позднему неолиту. Прекрасно сознавая, что изучение древностей Западной Сибири только-только начинается, Чернецов оставлял простор для своих последователей:

«Дальнейшие работы, надо полагать, позволят уточнить эту датировку и определить хронологические рамки данной культуры».

В диссертации Чернецов дал обоснованную интерпретацию собственных находок на Северном Ямале. «Генетически они, — писал он, — несомненно связаны с более отдаленным прошлым, почему и заслуживают особого внимания». Тиутейские и хансалинские находки, также как и аналогичные памятники, обнаруженные другими исследователями

на протяжении от Канина Носа до восточного побережья Таймыра, подтверждали мысль о существовании своеобразной приморской культуры, которую Чернецов метко окрестил «арктическим неолитом».

Он поддерживал точку зрения об этническом единстве южных и северных групп древних сибиряков.

В системе доказательств Валерий Николаевич не мог обойтись без привлечения своих богатых этнографических материалов. Это помогло ему решить многие туманные вопросы, в частности, дать аргументированное толкование термина «Сибирь». Этот топоним многие выводят из имени какого-то древнего народа. Иртышские татары называют его в своих легендах «сибыр» или «сывыр», ханты — «себар», манси — «сипыр», «сёпыр». На топонимической карте Западной Сибири при тщательном рассмотрении можно обнаружить немало речек, становищ, урочищ, в названии которых составной частью звучат эти корни. Даже тунгусы, населявшие берега далекого Енисея, сохранили предания о лежащей от них на западе земле «Савыр», которую населяет народ, ездящий на конях.

Чернецов, который также придерживался мнения, что имя Сибири дал народ, некогда населявший ее территорию и явно принадлежавший к угорской языковой семье, обратил внимание на фонетическое сходство этих терминов с легендарными «сихиртя», «сипрти». Учитывая фонетические законы ненецкого языка, нетрудно прийти к выводу, что «сихиртя» — это переогласованное «сибир-тян», где корень «тян» является общим самоназванием аборигенных арктических племен, именно тех, на чью территорию позднее пришли самодийцы.

Вывод Чернецова звучал так: «По всей вероятности, часть аборигенных арктических племен, быть

может, тех, территория обитания которых была наиболее близка к Усть-Полую, оказалась также в какой-то степени ассимилирована уграми-савырами (сибирами), почему и стала впоследствии известна ненцам под общим названием савыров, которые вошли в устное народное творчество под именем сихиртя».

Точные подтверждения этой гипотезы найти трудно (а вероятно, и невозможно), но и в этом случае еще раз поражаешься, какие тонкие нюансы должен не пропустить исследователь, чтобы дешифровать прошлое.

Появление степняков в таежной полосе Чернецов связывал с великим переселением народов, с продвижением на запад воинственных гуннов. Этноним «сёпыр» (сипыр, тяпыр) можно было отнести к гуннскому племени сабиров (себеров) или сабир-угров. Название скифского племени иирков в свою очередь также смыкается с названием обитателей Приобья — юграми. Кроме того, само название «хантэ-хунту» с большей долей вероятия может быть сближено с именем «хунну». Таким образом, он не исключал, что в жилах его таежных знакомцев течет кровь сподвижников знаменитого завоевателя Рима, гуннского вождя Атиллы.

В диссертации Чернецов широко привлекал материалы знакомого нам венгра Мункачи, который установил, что древняя коневодческая терминология родственных манси мадьяр «указывает на свое происхождение из иранских языков».

Основной вывод автора диссертации нам уже знаком:

«Появление в Приобье этого нового этнического элемента и последующее скрещение его с аборигенным привело к возникновению современных манси и хантов».

Чернецов уточнил хронологические рамки этих этнологических процессов, о которых первым писал Прокофьев:

«Около десятого века нашей эры в тундрах северо-западной Сибири появляются кочевники-оленоводы самодийцы. Продвигаясь с востока, а отчасти с юго-востока на запад, самодийцы ассимилировали аборигенов Арктики, а отчасти и северные группы югров, восприняв одновременно с этим и элементы их культуры, более приспособленной к местным физико-географическим условиям. Освоение тундры самодийскими племенами закончилось, вероятно, уже в первые века второго тысячелетия, но в наиболее отдаленных местах арктического побережья древняя приморская культура продолжала существовать и позднее, вплоть до шестнадцатого—семнадцатого веков. В первые же века второго тысячелетия северные племена югров заимствовали от ненцев оленеводство».

Кандидатская диссертация Чернецова не только четко классифицировала этапы заселения и освоения Западно-Сибирской равнины, формирование новых этнических объединений, но и возвращала манси, хантам, ненцам их интереснейшую и богатейшую историю, мало в чем уступающую прошлому многих других народов. Гуманистический пафос диссертации перекликался с ее патриотическим содержанием.

Послевоенные экспедиции позволили Чернецову во многом уточнить свою «кандидатскую схему». В 1953 году вышла его большая работа «Древняя история Нижнего Приобья», а в 1957 — капитальная монография «Нижнее Приобье в I тысячелетии нашей эры». В них использованы материалы послевоенных экспедиций, раскопки городищ Большой Лог, Андриюшин Городок, Зеленая Горка, Красноозерской

курганной группы, Екатерининской стоянки и других археологических памятников от Барабинских степей на юге до Салехарда на севере. Новые материалы, естественно, позволили уточнить многие датировки, более детально разграничить определенные исторические этапы сибирской древней истории, выделить особенности отдельных эпох. Это было аргументированное развитие тех направлений, которые намечались в кандидатской диссертации.

Позднее Чернецов расширил временные рамки своих исторических исследований, углубился в прошлое угорской общности. Еще на совещании в ИИМКе (1951 г.) по методологии этногенетических исследований в докладе «К вопросу о месте и времени формирования финно-угорской этнической группы» он поддержал точку зрения известного советского археолога С. П. Толстова, заметившего сходство среднеазиатской и уральской неолитических керамик, и пришел к выводу, что прародиной древней уральской общности являлось Приаралье, откуда в конце мезолита началось расселение этнических групп, в том числе и праугорской.

Выступая на научной конференции по истории Сибири и Дальнего Востока в Иркутске (1960 г.) с докладом «Древнейшие периоды истории народов уральской (финно-угро-самоедской) общности», Чернецов наметил этапы этой древнейшей истории сибирских племен. По его версии, в четвертом-третьем тысячелетиях до н. э. из уральской общности выделились предки финно-угров и самоедов. В течение третьего тысячелетия финно-угорская общность распалась на угорскую и финно-пермскую. На протяжении второго и первого тысячелетий идет формирование выделяющихся из финно-пермской общности этносов коми, мари, мордвы, удмуртов, суоми, карелов, эстов.

До настоящего времени эти мысли остаются актуальными — в науке о древней истории племен, населяющих нынешний Западно-Сибирский Север, нет другой более аргументированной гипотезы. Весьма упрощенно эту гипотезу можно назвать теорией двух «волн». Первая «волна», когда на земли сибирских автохтонов пришли угры, связанные с Приаральем. Вторая «волна» — путь алтае-саянских самодийцев на север и ассимиляция ими автохтонов. В результате первого этнического прилива появились манси и ханты, второго — ненцы и селькупы.

Есть у Чернецова небольшая по размерам статья «К вопросу о проникновении восточного серебра в Приобье», которую он опубликовал еще в 1947 году. В этой публикации обобщались материалы, которые, несомненно, свидетельствовали о достаточно прочных связях манси и хантов с древней прародиной.

Во время пребывания в таежных становищах Валерию Николаевичу не единожды приходилось встречать в чумах у хозяек серебряные вещи явно древнего происхождения. В священном лабазе у Тасмановых в селении Хал-пауль на Сосьве ему разрешили посмотреть священного серебряного слона. Семпильталовы в таком же лабазе хранили «старика-молота» — бронзовый клевец с головой льва. В Верхне-Нильдинских юртах Валерию Николаевичу так и не удалось посмотреть старинное серебряное блюдо с изображением пяти всадников. Ему показали семейную реликвию, не развертывая платка, в который она была закутана. Северное серебро не раз попадало в руки и других путешественников, а от них — в экспозиции музеев в Тобольске, Свердловске, Перми, Москве, Ленинграде. Серебряные вещи играли, как правило, ритуальное значение, в семьях коренных северян их берегли,

передавали из поколения в поколение, поэтому и немудрено было встретить вещь, изумившую бы и опытного антиквара, в самом глухом мансийском или хантыйском становище.

Арабские писатели ибн-Баттута и Абу-л-Фида описывали приключения своих торгующих соотечественников, пробивавшихся далеко на север в «страну снегов» еще в двенадцатом веке. Из сибирских архивных документов достоверно известно, что бухарские купцы наезжали до самого Березова еще в шестнадцатом веке. Явно прослеживалось, что торговые традиции «юг—север» существовали не один век, а насчитывали едва ли не полтора тысячелетия. Когда же путь торговым караванам из Бухары, Самарканда, городов Персии на Обь был перекрыт, пристрастием хантов и манси к серебряным вещам воспользовались отечественные купцы. В Санкт-Петербурге существовала даже небольшая фабричка, которая изготовляла серебряные вещи для торговли ими на Севере. Разворотливые русские купцы старались насытить северный рынок, а когда не хватало отечественной продукции, завозили серебро из Англии и других стран Европы. Отечественное серебро было качеством похуже, но торг все равно был выгоден, ведь за одну серебряную тарелочку мансийский охотник без лишних слов платил сто беличьих шкурок.

Но чем вызвано такое почтительное отношение северян именно к серебряным изделиям? Ответ на этот вопрос Чернецов нашел... в языках иранской группы. Мансийские и хантыйские слова имели параллели в персидском, осетинском, курдском, чеченском и других языках иранской группы. Причем это были не случайные совпадения, их было слишком много, чтобы быть случайными. Созвучны были слова, которые в любом языке относятся к ос-

новным: «жена», «хлеб», «железо», «посуда», «собака», «богатырь». Но языковые совпадения оказались не единственными, которые можно проследить между ираноязычными и североугорскими племенами. Чернецов выявил значительную группу фактов в области народного драматического искусства в некоторых религиозных обрядах. Манси, например, для жертвоприношений использовали березу или лиственницу, которую называли «тир». А дерево мудрости и ведовства у древних индусов — «тару». Многие загадочные явления, которые ставили в затруднение многих исследователей, например, почитание «торум Карса» — крылатого небесного орла, — Чернецов выводил из фактов истории и религии древних народов, населявших в доисторические времена территории Кавказа и Приаралья.

Тщательно оберегаемые от постороннего глаза серебряные вещи, таким образом, были связующей нитью между таежниками и их далекими предками. Импорт сасанидского серебра привел внимательного исследователя к рубежам старой и новой эры. Именно в это время, по мнению Чернецова, степняки, ираноязычные племена, входившие в состав скифосарматского мира, начали свой путь из Приаралья на Север. В течение пяти-шести столетий кочевники-коневоды ассимилировались с племенами, населявшими берега Иртыша и Оби. Они стали охотниками и рыболовами, в результате ассимиляции утратили язык, но многое сумели сохранить — в языке, в религиозных верованиях, изобразительном искусстве, сохранить то, что свидетельствовало о богатом прошлом, о большом пройденном пути. Купцы же Среднего Востока, пользуясь особой привязанностью северян к изделиям бывшей родины, вывозили в Бухару, Хиву, Багдад имевшие большой спрос на всех рынках мира сибирские ме-

ха, белую мамонтовую кость и «рыбий зуб» — моржовые клыки.

Чернецов, как никто другой, умел не проходить мимо, казалось бы, самых малозначительных фактов, анализ которых прибавлял еще один яркий камешек в складываемую им мозаику исторического пути небольших северных народностей.

В годы войны трудно было думать об экспедициях, и такой неутомимый путешественник, как Валерий Николаевич, явно засиделся. В победном сорок пятом он уже принимает участие в Северо-Барабинской экспедиции, во время которой познакомился с большим знатоком сибирских древностей, профессором из Омска П. Л. Драверттом. Плодотворным был и первый послевоенный год. Валерий Николаевич принял предложение Арктического института возглавить экспедицию на городище Мангазеи. Русской сибирской стариной Чернецов специально не занимался, но никогда не терял к ней интереса. Так что уговаривать его долго не требовалось.

«Оживленный некогда и хорошо известный в географии край превратился в одну из самых малоизвестных местностей на земном шаре. Неизвестно с точностью ныне даже место, где стоял город Мангазея!»

Эти горькие слова написаны в 1915 году, принадлежат они известному знатоку Севера Л. Брейтфусу. Истинно так, ученые царской России не интересовались знаменитым памятником сибирской старины. Проезжавшие по реке Таз профессор И. И. Шухов и гидрограф Р. Е. Кольс писали о том, как время и воды реки подтачивают и разрушают останки «северного Багдада» — форпоста русского проникновения в Западную и Восточную Сибирь. Чернецов был первым археологом, который спустился

почти три столетия после исчезновения «государева острога» пришел в Мангазею.

...В тихом уголке Москвы, недалеко от Садового кольца, в Померанцевом переулке стоит внушительный старинный особняк, некогда принадлежавший какому-то чиновному вельможе. Здесь в небольшой квартире живет¹ Ванда Иосифовна Мошинская — вдова Чернецова, кандидат исторических наук, сотрудница академического Института археологии, известный специалист по древностям Западной Сибири. Все в комнате с высокими потолками, оригинально переоборудованной еще Валерием Николаевичем, выдает интересы хозяев. Застекленная полка со старинными изданиями, среди которых подлинные раритеты: первое издание (1788 г.) «Путешествия по разным провинциям Российского государства» Палласа, Миллерова «Сибирская история», книги А. Кастрена, А. Шренка, А. Брема, О. Финша... Труды зарубежных коллег с дарственными надписями. Книги Чернецова и Мошинской, изданные в США, Венгрии, Финляндии, Канаде. Последняя книга хозяйки — «Древняя скульптура Урала и Западной Сибири».

Вот уже более тридцати лет Ванда Иосифовна занимается изучением неписаной истории ненцев, хантов, манси, селькунов. А первая ее экспедиция — та самая, Мангазейская, 1946 года.

Гидросамолет из Салехарда в Хальмер-Седе (нынешний райцентр Тазовский) летал редко, и экспедиция смогла выбраться из Салехарда только в конце августа. В Хальмер-Седе Валерий Николаевич узнал две новости: в последний рейс вверх по Тазу отправлялся пароход, и последним рейсом в Салехард следовала «летающая лодка» «Катали-

¹ В. И. Мошинская умерла осенью 1980 года, когда эта книга готовилась к печати.

на». Стало ясно, что придется зимовать, и руководитель экспедиции отправил двух участников, В. Левашову и Н. Трошкову, назад, в Салехард. На катер Чернецовы сели вдвоем. Через три дня пути (катеришко подолгу задерживался из-за густых туманов и снегопадов) на крутом левом берегу Таза археологи увидели две довольно хорошо сохранившиеся рубленые башни, остатки бревенчатого укрепления и неразобранные нижние венцы домов. Последний пожар погулял здесь в 1672 году, но два с лишним столетия не загладили следов этого рокового для Мангазеи пожара. Петр Кыткин, тот самый, что встречал экспедицию и приготовил для нее свою лодку, стал ближайшим помощником и проводником. А помощь двум «мангазейским отшельникам» требовалась: необходимо было, используя последние теплые дни короткого здешнего бабьего лета, вести археологическую рекогносцировку и готовиться к зимовке — в палатке становилось холодновато. Весь день исследователи проводили на городище и песчаном берегу, который обнажился, когда сошла большая вода. На заплеске было обнаружено много монет шестнадцатого и семнадцатого веков, железной и костяной утвари, обломков керамических изделий. По вечерам Валерий Николаевич занимался землянкой, Ванда Иосифовна, как могла, помогала. Чернецов провел осторожные выборочные раскопки, но крупные земляные работы проводить было рискованно — ожидавшийся со дня на день снег сразу бы свел на нет всю работу. Да и землекопов найти в здешней тайге было мудрено — жившие в окрестных чумах охотники и рыбаки селькупы с лопатой дела не имели и в помощники не годились. Рабочую силу на раскопки следовало везти с собой.

Снег действительно скоро заставил прекратить

работы. Дожидаясь зимнего пути на Туруханск, Валерий Николаевич коротал время в беседах с селькупами. Интерес его был закономерным: ведь еще Прокофьев пришел к выводу, что в формировании селькупов и манси присутствовал какой-то общий для этих народностей этнический компонент. Специальной работы по этому вопросу у Чернецова нет, но в тех долгих беседах он многое сумел выяснить для себя. Когда подстыли таежные болота, у местных оленеводов с Сидоровской пристани было нанято несколько нартовых упряжек, на которых и были вывезены мангазейские находки.

В экспедиционном отчете, анализируя археологический багаж, Чернецов делал выводы:

«Размеры посада, обилие в нем жилищ, кости коров и свиней свидетельствуют о значительном и постоянном населении в городе. Собранный вещевой материал, несмотря даже на свою неполноту, дает основания для некоторых выводов, меняющих установившийся на Мангазею взгляд, лишь как на военно-торговый форпост. Нам представляется, что Мангазея имела несравненно более широкое значение. Она была прочно обжитым местом, где русские стремились создать привычный для них уклад, хозяйство и даже нелегкое при местных условиях домашнее хозяйство.

Можно также полагать, что Мангазея жила не только привозными товарами. Обилие простой глиняной посуды, железных гвоздей и других поделок, сырой и дубленой кожи, бронзо-литейных отходов и т. д. свидетельствует о наличии в городе ремесленников, работавших на местный рынок.

Но основной удельный вес в Мангазее имела все же торговля с поразительно широким для своего места и времени размахом. Европейская стеклянная посуда, китайский фарфор и нюрнбергская

монета с достаточной наглядностью иллюстрируют торговую мощь Мангазеи. Не приходится удивляться количеству проходившей через нее пушнины. Богатая своим и привозным товаром, она, естественно, притягивала к себе «мягкую рухлядь» из всех прилежавших к ней областей тайги и тундры».

К экспедиционному отчету, опубликованному в 21-м выпуске «Кратких сообщений Института истории материальной культуры имени Н. Я. Марра» был приложен план раскопок. Эта точная схема была через два десятилетия использована сотрудниками большой экспедиции, снаряженной институтами Арктики и археологии. Надо полагать, что большой успех, достигнутый этой экспедицией и возродивший былую славу «златокипящей вотчины государевой», в немалой степени зависел и от археологической «пристрелки», которую провели супруги Чернецовы.

Полевой сезон 1946 года для Валерия Николаевича все же был не «мангазейским», а «усть-полуйским». Сибирское средневековье — область для него в общем-то случайная, а вот древними усть-полуйцами он интересовался давно, это был предмет его пристального внимания. Он в то первое послевоенное лето и приехал несколько в Мангазею, потому что его задержали раскопки в Салехарде, на усть-полуйском городище. Об Усть-Полуе археологи услышали еще в 1935 году, когда из Салехарда вернулся руководитель полевой разведочной экспедиции, снаряженной в стенах Зоологического института АН СССР, В. С. Андрианов. Отряд успешно выполнил программу исследований. Но у Андрианова было поручение от института антропологии и этнографии, который решил воспользоваться «оказией» и дал необходимые средства и инструкции для производства раскопок.

Так зоолог стал автором настоящей археологической сенсации.

На высоком берегу впадающего в Обь Полуя, примерно в пяти километрах от здешнего речного порта, было выбрано место для земляных работ. Выбор был не случайным. Синоптик местной метеорологической станции Е. И. Жилин, копая погреб для дома, обнаружил следы культурного слоя, в котором нашел поделки из оленьей кости, металла, бронзы, обломки керамических изделий. Глубокая древность находки не вызывала сомнений, поэтому синоптик и поспешил поставить в известность специалистов, а когда они приехали, деятельно помогал им.

Андрианов интуитивно понял, какая удача ему подвернулась: усть-полуйские находки, как он писал, «открывают совершенно новые перспективы в изучении Севера».

Но если понятия «Усть-Полуй», «усть-полуйская культура» вошли во все хрестоматии по археологии, то в этом прежде всего заслуга Чернецова, который просмотрел и проанализировал все двенадцать тысяч находок, привезенных Андриановым в Ленинградский музей археологии.

Но Чернецов не был бы Чернецовым, если бы самолично не побывал в этом археологическом «заповеднике». Он не без основания сомневался, что в таком удобном возвышенном месте, при слиянии двух крупных рек, могла существовать лишь одна древняя стоянка. И не ошибся — обнаружил несколько археологических памятников и могильников на Ангальском мысу и по берегам речушки Шайтанки. Естественно, «гвоздем» поискового сезона были раскопанные остатки крупной бронзолитейной мастерской. На дневную поверхность были извлечены формы, модельки, много литейного брака — все это

свидетельствовало о высоком уровне металлургического производства у устьполуицев. А резные вещи с изображениями животных и птиц, обнаруженные в жертвеннике на Ангальском мысу, Валерий Николаевич сразу отнес к художественным произведениям мирового масштаба.

Стоял июль, солнце не закатывалось над Северным Полярным кругом. Археологи перепутали день с ночью. В их бараке постоянно кипел самовар, и, попив крепкого, по-северному заваренного чая, они выходили на раскопки в любое время. Комаров и мошки было невероятное количество, а растаявший культурный слой благоухал не совсем культурно. У раскопа постоянно толклись местные жители, прослышавшие о «богатом кладе», давали советы. Мальчишки не уходили с раскопа даже ночью.

Находкам в окрестностях Салехарда Чернецов посвятил две большие работы — «Бронза Усть-полуицкого времени» и «Усть-полуицкое время в Приобье». Усть-полуицкая культура, она датируется четвертым веком до н. э. — первым веком н. э., была важным этапом в освоении человеком северных территорий. На основе анализа своих и андриановских находок Чернецов нарисовал образ устьполуицев, жителей северной Сибири на рубеже старой и новой эры. Это были охотники и рыболовы. Крупного зверя они били легкими копьями с тонким лезвием, ножами, стреляли из лука. Птицу и мелкую дичь добывали стрелами с тупым наконечником. На дикого оленя охотились со специально прирученным оленем-манщиком. Налима и щуку ловили на деревянный крючок, крупную рыбу били острогами и гарпунами. Жили эти люди семьями в землянках, которые составляли поселок рода. Знали упряжное собаководство — об этом свидетельствовали найденные вертлюжки от собачьих упряжек. Одевались в меха и

кожу. Готовили в глиняной и бронзовой посуде, питались мясом, рыбой, ягодами, кедровыми орехами, земляными корнями. Панцири из костяных и роговых пластинок, бронзовые и железные кинжалы, боевые топорики со звериными мордами на обушке и клевцы с орлиными головками говорили о том, что племенам устьюлууцев приходилось не раз сталкиваться с соседями в борьбе за богатые природные угодья.

В культуре устьюлууцев было немало того, что роднило их с современниками, жившими за Уралом, на Каме, в верховьях Оби и Иртыша, по Енисею. Имелись материалы, связывавшие их с эскимосами дальневосточного побережья, юкагирами колымской тайги. Устьюлууцы — ближайšie предки пенцев, манси и хантов и звено, связующее эти северные племена.

«Место это, — писал Валерий Николаевич, — благодаря исключительно удобному положению, на границе леса и тундры, было обитаемо и раньше, задолго до нашей эры. Не было оставлено оно и в дальнейшем. В продолжение почти целого тысячелетия устье Полуя являлось то местом поселения, то пунктом для жертвоприношений (14—15 века нашей эры), а иногда и тем и другим».

Ошеломляющее богатство находок на Усть-Полуе опровергло сказки о вымирании северных племен, о их якобы неспособности к развитию. Называя древнюю усть-полууйскую культуру «яркой и самобытной», Валерий Николаевич с редким для него пафосом писал:

«И в глубокой древности народы Западной Сибири ничуть не отставали в своем развитии от предков народов европейской цивилизации, создавали культуру, хорошо приспособленную к суровым условиям сибирского климата. Их древняя история столь же

богата и содержательна, как и древняя история всех народов Советского Союза».

С годами у Чернецова усиливается тяга к изучению древнего искусства, и в основе этого увлечения лежит, надо полагать, именно эта мысль — доказать богатство духовной жизни северных племен на всем протяжении их долгой и богатой истории. Необыкновенно наблюдательный, он умел видеть проявление художественного сознания в малозаметных мелочах — это и штампованные узоры на глиняной и берестяной посуде, гравировка на наконечниках стрел, ленточные орнаменты на одежде и берестяных изделиях. Редчайший дар Чернецова не проходить мимо «пустяков» привел его к открытию весьма своеобразного искусства. Но значение этому открытию он сам придал лишь четыре десятилетия спустя. Еще в 1925 году он попал на летнее стойбище Тактапауль, которое ютилось на берегу небольшого лозьвинского притока, речке Ялпинг-я.

«Я обратил внимание на двух девочек, — описывал он этот эпизод, — которые развлекались тем, что складывали особым образом тонкие листочки бересты и прикусывали их зубами. Потом, когда бересту разворачивали, на ней оказывался более или менее сложный узор. В игре принимали участие и взрослые женщины. Для получения узоров бересту складывали пополам и вчетверо, по диагонали или только в уголках и прикусывали ее то резцами, то коренными зубами, все время поворачивая во рту сложенный кусок бересты. Трудность изготовления узора обуславливалась невозможностью контролировать его визуально; большая или меньшая искусность определялись лишь степенью обладания чувством формы, ритма и надлежащей координацией движений пальцев и зубов. Основная сложность заключалась в том, что эти движения были не случайными. Наоборот,

каждая из художниц добивалась выполнения определенной темы, стремясь изобразить именно наменную фигуру».

Двадцатилетний Чернецов не придавал особого значения этой «игре», полагая, что с этой традицией ему придется встретиться еще не однажды. Однако хотя он появлялся в здешних местах с завидной регулярностью, но наблюдать, как рисуют узор... зубами, ему не пришлось. Ясно, что это было исчезнувшее искусство. Но, к счастью, в тот первый раз по какому-то наитию он положил в свой рюкзак несколько полосок искусанной бересты, записав названия узоров. Когда настало время и для тактапаульских находок, Чернецов уже мог многое увидеть в этом бесхитростном искусстве. Узоры на бересте имели смысловое значение. Как правило, они изображали следы мыши, росомахи, тетери, лося, оленя, лисицы. Это было не случайно, а связано с охотничьей магией — след, по представлениям манси, ассоциировался с самим зверем, и, воздействуя на след, можно было влиять и на само животное. Искусством «зубной» орнаментации не владел больше ни один из северных народов Сибири, зато, как выяснил исследователь, она была знакома северо-американским племенам беосук, оджибва и монтанье-наскапи. Существовало это искусство довольно долго (Чернецов относил его зарождение к третьему тысячелетию до нашей эры), и сохранилось даже в двадцатом веке, правда, в виде детской игры.

Чернецов был первым и последним, кто заметил эти необычные узоры на бересте. Даже финн У. Спирелиус, автор большой монографии по орнаменту угров, долгое время работавший в североуральской тайге, прошел мимо столь интересного явления, и это только делает честь охотничьей зоркости глаза коренного горожанина Чернецова.

В годы войны он работал над монографией «Обские угры». По каким-то причинам этот обобщающий труд им написан не был, он успел только опубликовать в виде реферата одну из глав: «Изобразительное искусство», в котором декларировал свои взгляды на это специфическое явление духовной жизни древних обитателей Сибири. Он писал:

«Первобытное искусство не есть результат «эстетических чувств», а подчинено представлениям магического и анимистического порядка. Это обстоятельство и объясняет ту необыкновенную устойчивость форм примитивного изобразительного искусства, которая известна нам по многочисленным примерам.

Примитивное искусство есть выражение процессов комплексного первобытного мышления, отражающего коллективные представления раннего общества, — считал Чернецов. — Поэтому к примитивному искусству не применимы оценки, базирующиеся на субъективных восприятиях современного человека. Равным образом не применимы к нему понятия реализма, схематизма, условности в их современном содержании. Примитивное искусство, даже в его «реалистических» направлениях, всегда условно, так как изображает не одну лишь «вещь», но и весь неотчленимый от нее комплекс представлений».

В этой формулировке чувствуется глубокое понимание специфики примитивного искусства и психологии древнего мастера. Рецензируя книгу Д. Н. Эдинга «Резная скульптура Урала», Чернецов доказывал, что в древнем мастере глубокий реалист мог мирно уживаться с сугубым «условником» (сейчас мы могли бы назвать его абстракционистом), ибо это диктовалось его представлениями о жизни. Условность, тот же орнаментальный «след» росомачи, изображенный зубами на бересте, был для древ-

него охотника столь же реален, как и голова лося, вырезанная на ручке ложки.

На глазах Чернецова протекал процесс возрождения национальных культур. Заботливое отношение к каждому сколь-нибудь талантливому человеку способствовало появлению самобытных художников и резчиков, развитие письменности стимулировало появление интересных поэтов и прозаиков. Расцвет культуры пробуждал интерес к историческому и этнографическому прошлому у представителей малых народов. Это был взаимозависимый процесс.

«Равнодушие к истории,— убежденно считал Чернецов,— это свидетельство национального упадка, и наоборот».

Работу археолога особо увлекательной, пожалуй, не назовешь. Удачи, сенсационной находки можно ждать долго и не дожидаться. Да и не сенсации делают науку. Терпение, кропотливая тщательность, трудолюбие — вот главное, что требуется специалисту по древностям. Ему надлежит быть глубоко сведущим в таких отдаленных друг от друга областях знаний, как климатология, палеоботаника, мерзлотоведение и другие, чтобы уметь сопоставить и увязать нестыкующиеся факты. Пожалуй, более увлекательна у археолога не внешняя, а внутренняя сторона дела, когда наступает время анализа, тонких сопоставлений, сравнений, аналогий, когда самый малозначащий факт (а чаще всего — именно он) может связать и целые эпохи, и целые народы.

Если деятельность Чернецова не укладывается в схему работы «типичного» археолога, то, пожалуй, только потому, что для своих исследований он избрал край, в котором «скучных» экспедиций не бывает. Отсутствие дорог, ненадежность средств передвижения, малолюдность, таежные болота и топи, разливы обильных сибирских рек, бурные горные

потоки — все это делало его путешествия не просто увлекательными, но и опасными.

В монографии и экспедиционные отчеты сведения о том, в каких условиях приходилось работать, попадали редко. Но иногда Валерий Николаевич, как бы извиняясь за то, что не сумел сделать всего, что намечал, коротко сообщал, что помешало этому. В среднем течении реки Юконда у села Карым он вел раскопки городища Ус-Толт, относящегося к третьему веку до новой эры и характерного для так называемого «ярсалинского этапа». Результаты, по мнению ученого, могли бы быть интереснее. Но...

«Типичная таежная река Юконда, — пишет он, — извивается среди болот и увалов, поросших сосновыми борами. На протяжении свыше 500 км течения она преграждена бесчисленными заломами... При подмывании берегов лес валится в воду, и на крутых поворотах реки и в узких местах в половодье образуются заторы, поверх которых наносится земля. В последующие годы набивается еще больше леса, и, наконец, на протяжении одного-двух, а иногда и трех километров река исчезает под сплошным мостом из бревен и земли. Многие из таких заломов уже поросли лесом, и по ним можно пройти, не подозревая, что пересекаешь реку. При плавании залома приходится обходить волоком, что нетрудно сделать при наличии легкой лодки и чрезвычайно тяжело при большом грузе. Иные залома прорублены, но подниматься, а тем более спускаться по этим узким коридорам среди мокрых, скользких бревен при очень быстром течении, обусловленном подпруженностью реки в этих местах — дело трудное и опасное».

Видит ли эти опасности манси, для которого эти места — родные? Конечно. Но они для него естественны, ибо сопровождают с первых дней жизни и до последних. Путешественник Чернецов научился от-

носиться к опасностям так же, как его «братья» по лозьвинскому роду.

Некоторые из коллег Валерия Николаевича были убеждены, что среди его предков были сибиряки, более того — именно манси. Ведь если уроженка мансийской тайги, молодая Дуся Ромбандеева, увидев его впервые, воскликнула: «Манси», — то менее искушенные в сибирском характере так и оставались в неведении относительно чернецовской родословной.

Археолог Михаил Косарев, ныне доктор исторических наук, а тогда студент, попал в одну из последних экспедиций Чернецова (с 1959 года Валерий Николаевич уже не путешествовал — давала себя знать подступающая болезнь).

— Я ни до, ни после, — делился воспоминаниями Михаил Федорович, — не встречал такого руководителя. Это был серьезнейший ученый, он интуитивно, только еще приступая к раскопкам, умел чувствовать памятник в общем. Лес был его стихией, он умел делать все те мелочи, которые требуются здесь, чтобы окружающие не чувствовали неудобств жизни на природе. Ставил сетку, как настоящий рыбак, крался по тайге, как прирожденный охотник, правил на лодке шестом, как истый абориген, разговаривал с манси на любом диалекте, и, судя по их реакции, никто не сомневался в правильности его выговора. У костра вечером, после утомительной работы, не было более блестящего рассказчика, чем Валерий Николаевич. Но в его вечерних импровизациях, как в мансийских легендах, правда была неотделима от вымысла. А так как героем этих рассказов бывал и сам Чернецов, то мы пытались все же выяснить, где правда, а где фольклор, но в этом случае серьезнейший человек напускал такого мистического тумана, что не оставалось ничего, как верить или не верить — целиком. Он уже и в сто-

лице, в самой чинной и чопорной компании позволял себе то, что сам называл «пошаманить». У него были руки мастерового, он порой любил щегольнуть простонародным словечком, и, наверное, он чувствовал себя гораздо уютнее в грязноватом чуме, чем на респектабельном званом обеде.

— Вы знаете, — улыбнулся Михаил Федорович, — сам я сибиряк, но когда вспоминаю, как Валерий Николаевич мог бесшумно, незаметно выйти из тайги, из темноты, оказаться рядом с тобой, так что ты вздрагивал, когда вдруг рядом слышал его спокойный голос, то тоже начинаю сомневаться: действительно, не было ли у его предков мансийской крови...

Эти свойства чернецовской природы ставили его в несколько предпочтительное положение перед другими этнографами, которые занимались изучением манси. Поэтому понятен вздох одной исследовательницы, продолжающей его дело:

— Ах, если бы он не ушел в археологию!..

Да, к сожалению, обобщающий труд «Обские угры» так и остался лишь в планах. А кому, как не ему, была по силам эта работа, ведь материалом он владел огромным.

Однако как бы ни разрозненны были его этнографические работы, все они, начиная с самой первой — «Жертвоприношение у вогул», опубликованной в студенческом журнале «Этнограф-исследователь», и заканчивая последней — «Периодические обряды и церемонии у обских угров, связанные с медведем», напечатанной в трудах Международного финно-угорского конгресса, имеют большое научное значение. Во-первых, Чернецов изучал сложные явления в мансийских обычаях, которые были недоступны другим исследователям, во-вторых, ему еще удалось зафиксировать обряды, которые уже исчез-

ли из быта северной народности под влиянием социалистических перемен. Таким образом, он был не только исследователем, но еще и внимательным очевидцем.

Наблюдательность — не последнее качество этнографа. Сосьвинский рыбак Семен Пакин ехал в Березово продавать рыбу и взял с собой напросившегося ему в попутчики Чернецова. Одно из непонятных действий рыбака привлекло внимание молодого исследователя — Семен громко постучал веслом по борту лодки, плеснул в кружку самогонки из бутылки и вылил ее в реку. Спиртное было дефицитом, и Валерий Николаевич понял, что рыбак проделал все это неспроста. Действительно, оказалось, что таким образом Семен умилостивил духа здешнего мыса Хабв-ойка, чтобы тот помог ему выгодно продать улов. Не случайным был даже стук весла по борту: так рыбак призывал божество, обращал на себя его внимание.

Этнографические исследования Валерия Николаевича выявляли фратриальное устройство обско-югорского общества, историю родового строя у обских угров. Он детально проанализировал представления манси и хантов о душе.

Кирилл Сампильталов считал сына своим старшим братом. Ничего парадоксального в этом не было, если учесть, что манси своих детей считали перевоплощением кого-то из умерших родственников. У Кирилла умер старший брат, и его четвертая душа должна была переселиться в Кириллова сына.

Как и у самодийцев, у обских угров «душевная» организация представляла собой весьма сложную систему. Женщина могла иметь четное число душ — две или четыре, мужчины всего на одну больше — три или пять. Для удержания души делали татуировку, которая обязана была сторожить душу чело-

века при его жизни, а потом сопровождать его в загробный мир. Татуировку делали уже в зрелом возрасте. Но Чернецов был знаком и с одним исключением. Несколько девушек с реки Казым уезжали в Ленинград, в Институт народов Севера. Учитывая, что уезжают они на долгие пять лет, старейшины рода решили, что «сторожевую» татуировку, которая бы оберегала их в далеком городе, можно сделать и пораньше.

В январе 1937 года, преодолев семьсот километров на оленьей упряжке от станции Ивдель, забравшись в труднодоступные верховья Лозьвы, Чернецов впервые попал на медвежий праздник в юрты Новинские. Весь январь у него прошел под знаком медведя — он наблюдал игры и обряды, связанные с этим праздником, в селениях Ялп-Ус-Лемвож, Илпи-пауль, Сури-пауль и Так-як-пауль. Он не только записал песни, которые поются на этом празднике, но сделал описания всех танцев и зарисовал главных персонажей этого древнего обряда. Слушая заунывные мотивы, повторявшиеся семь ночей подряд, он невольно задумался о природе этого торжества.

Уже после войны, в 1948 году Валерий Николаевич специально приехал на Ялп-Ус на «медвежий праздник». Он привез с собой кинокамеру — вещь по тем временам чрезвычайно редкую — и снял на пленку все действие. Такого не удавалось сделать исследователям ни до, ни после него, так как манси строго соблюдают тайны своих обрядов, особенно в отношении медвежьего праздника. Но для «лозум хум» было сделано исключение.

На II Международном финно-угорском конгрессе, который проходил в Хельсинки, он сделал доклад «Медвежий праздник у обских угров». История этого праздника уходит в глубокое прошлое, и пер-

воначально, несомненно, он имел магическое значение, цель обрядов — снять с охотника вину за убийство медведя, замаскировать самый факт этого убийства. Но на протяжении веков изменялись и форма, и содержание праздничного действия. Для исполнителей перестал быть понятным целый ряд магических обрядов, потеряли смысл те действия, которые были связаны с фратриальными особенностями.

За счет этого, как замечал Чернецов, развивается качественно новая сторона «праздника» — развлекательная. Медвежий культовый обряд начинает становиться действительно праздником. Драматические и кукольные представления, театрализованные пляски, песни в течение пяти ночей (если поминался медведь) или четырех (медведица) превращали древнее действие в веселый и оживленный, настоящий народный праздник.

Авторитет Валерия Николаевича как этнографа был поистине международным. В 1961 году его избрали почетным членом Финно-угорского общества в Финляндии, на его труды ссылались все ведущие финноугроведы, как в нашей стране, так и в Венгрии, ФРГ, США, Канаде, ГДР, странах Скандинавии. На европейские языки были переведены отдельные статьи и большие монографические работы. В США вышел том его работ, который можно назвать «Избранное». Бывавшие в Москве специалисты всегда старались встретиться с Чернецовым. У него в тесноватой, но уютной квартире в Померанцевом переулке бывал вице-президент АН ГДР Вольфганг Штайниц, с которым в 1936 году они путешествовали по Конде. Хозяином Валерий Николаевич был хлебосольным. Поддерживали с ним контакты профессор Гуторм Йессинг из Норвегии, доктор Карл Шустер (США), канадец Сэлвин Дьюдни.

Весной 1970 года он издал реферат своей докторской диссертации «Наскальные изображения Урала». Защита была назначена на апрель, но автореферат Валерий Николаевич получил уже в больничной палате. Он умер от рака в последние дни марта этого года...

Тема его докторской была необычной, в общем-то он ступал по «белому пятну» — это был стык археологии, этнографии и искусствоведения.

Наскальными изображениями Валерий Николаевич заинтересовался еще в 1927 году, когда впервые попал на реку Тагил. Однако вернуться к заинтересовавшим его росписям он смог только через 11 лет на том же Тагиле, а капитально занялся изучением скальных росписей только в конце пятидесятых годов. В течение четырех сезонов он буквально излазил все приметные скалы и пещеры по берегам Тагила, Нейвы, Туры, Режа, Серги. Ему уже шел шестой десяток, а пришлось овладеть мастерством верхолаза и альпиниста. Писаницы, как правило, скрывались в весьма труднодоступных местах, на отвесных скалах. В каждом отдельном случае археологам приходилось придумывать сложную систему блоков подвесок и люлек, чтобы осмотреть и скопировать рисованные изображения на скалах.

Уральские писаницы, такие, как Корелинская, Ирбитский Писаный камень, наскальные росписи по Тагилу, были известны давно. О них писали еще в 17—18 веках Николас Витсен, Герхард Миллер, Филипп Страленберг, Семен Ремезов. Но сколь-нибудь системное описание этих наскальных росписей сделала в 1914 году организованная императорской археологической комиссией экспедиция под руководством В. Я. Толмачева. Даже фиксация этих археологических памятников, весьма подверженных разрушению (сколько их погибло — трудно предста-

вить), имела серьезное научное значение. Группа Валерия Николаевича изучила около четырех десятков пещер и скал, среди них Писаные камни на Нейве, Серге, Исети, Вишере, Идрисову пещеру, Каменную палатку на левом берегу Режа, три Бородинских скалы на этой же реке, камень Двуглазый на Нейве, три писаницы на озере Большой Аллак. В результате тщательных исследований сюжетов и композиций писаниц Чернецов попытался дать собственное толкование внутреннего содержания и назначения наскальных изображений, провел сравнение уральских изображений с петроглифами Ангары, Енисея, Томи и северной Норвегии. Это позволило ему включить уральские писаницы в картину древних историко-этнографических процессов и сделать весьма существенные выводы.

Прежде всего, отдавая должное древним мастерам, Валерий Николаевич предостерегал от излишнего увлечения «художественностью» наскальных изображений, ибо предназначение их заключалось не в «эстетическом созерцании», а имело магическое значение. При относительном многообразии все же не составляло большого труда определить основные сюжеты. Чернецов выделил их три. Самым распространенным был вариант, где изображался какой-нибудь зверь, промысловая ловушка и знак солнца. Второй сюжет содержал «изображения водоплавающих птиц в сочетании с загородками, ловушками и иногда солярными и небесными знаками». Третий сюжет отличался большей условностью в изображении животных и человеческих фигур. В писаницах можно было увидеть довольно реалистические изображения лосей, оленей, волков, медведей, песцов, рыб, птиц. Специфической особенностью являлось изображение солнца, внутренностей и «линии жизни», которые характерны также для рисунков, узо-

ров на бересте и резьбы по кости у современных манси, хантов, саамов, ненцев и селькупов.

Однако «художественная выразительность» для древнего автора вряд ли была главенствующей. Лако-ничность петроглифов Валерий Николаевич сравнил с «графическими формулами». Это объяснялось тем, что древний автор не рассчитывал на долгое существование изображенного им. По его представлению, «графическая формула» должна была привлечь в ловушки рыбу, птицу и зверя, удержать их. Процесс нанесения рисунка явно сопровождался каким-то соответствующим обрядом. Смысловой акцент этого действия приходился именно на процесс рисования и сопровождающие обряды, а не на то, что и как изображено. Круг изображений «третьего сюжета» как раз и свидетельствовал о том, что процесс нанесения «формул», предваряющих какой-то промысел, был доведен до известного совершенства. Второй по значению после «промысловой» темы была тема, связанная с весенним оживанием природы и идеей размножения.

В 1964 году, выпуская первый том «Наскальных изображений Урала», посвященный тагильским писаницам, Чернецов определил дату их появления рубежом третьего-второго тысячелетий до новой эры. В процессе дальнейшей работы он уточнил датировку: самые древние изображения существовали как минимум шесть тысячелетий.

Стиль писаниц хорошо увязывался с изображениями на металлических дисках, принадлежащих предкам манси и имевшим то же ритуальное значение. Этот и другие факты позволили Чернецову отнести авторов наскальных изображений к древним уграм. Сравнение же общих черт в петроглифах, обнаруженных исследователями на Ангаре, Енисее, Томи, в северной Норвегии, позволяло, привлекая

этот весьма существенный и наглядный материал, ответить на вопрос, который с юношеских лет интересовал Валерия Николаевича: кто они, откуда они пришли?

Он представлял этот путь, первую «волну», так: «Начиная со второй половины четвертого тысячелетия до н. э. из Зауралья наблюдается достаточно интенсивное продвижение населения как в северо-восточном, так и в северо-западном направлениях. Северо-восточный поток хорошо прослеживается до низовьев Енисея и его правобережных притоков и до полуострова Таймыр, и несколько менее надежно — до западной части низовьев Лены. Его можно связать с расселением прасамодийских групп и некогда родственных им по языку отдаленных предков современных юкагиров. Западный поток, очевидно, связан с расселением пралопарей (прасаамов), которые до восприятия ими балтийско-финской речи в I тысячелетии до н. э. говорили на языке, близком самодийским и обско-угорским».

В марте 1970 года отделение истории АН СССР, совместно с несколькими институтами, проводило заседания, посвященные итогам целевых работ предыдущего сезона. Безнадежно больной, уже из больницы палаты, Чернецов передал своему коллеге доклад, с которым сам собирался выступить на сессии. В этой работе, «Этнокультурные ареалы в лесной и субарктической зонах Евразии в эпоху неолита», Чернецов предлагал свою классификацию древней неолитической истории Сибири, считая, что в это время существовали две этнокультурные общности — Урало-Сибирская, Байкало-Ленская и культура даурского типа.

Он стоял перед большими обобщениями...

Однако судьба не дала ему завершить все намеченное. Такие потери для науки болезненны особен-

но. Вся жизнь Валерия Николаевича была посвящена одной цели. И если его материалами могут воспользоваться ученики и последователи, то та научная интуиция, которая рождается в результате последовательного, заинтересованного и долголетнего собирания материалов, умерла вместе с ним, и сознание того, что не все «долги» науке отданы, сделали его последние дни особо мучительными.

Но свершенное им, представителем славного поколения первых советских рыцарей Севера, навсегда вписало его имя в историю изучения Сибири.

ОСНОВНАЯ ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. *Беленкин И. Ф.* Вечный свет. Новосибирск, 1973.
2. *Вдовин И. С., Терещенко Н. М.* Очерки истории изучения палеоазиатских и самодийских языков. Л., 1959.
3. *Вербов Г. Д.* Ненецкие сказки и былины. Салехард, 1937.
4. *Вербов Г. Д.* Лесные ненцы. Советская этнография. № 2, 1936.
5. *Каргер Н. К.* Кетский язык. — В кн.: Языки и письменность народов Севера. Т. 3. Л., 1934.
6. *Каргер Н. К.* Очередные задачи этнографии на Севере. — Советская Азия. Кн. 3—4. 1931.
7. Материалы I Всероссийской конференции по развитию языков и письменности народов Севера. М.—Л., 1932.
8. *Прокофьев Г. Н.* Новое слово. Букварь на ненецком языке. Часть 1. М., 1932.
9. *Прокофьев Г. Н.* Самоучитель ненецкого языка. М.—Л., 1936.
10. *Прокофьев Г. Н.* Селькупский язык. — В кн.: Языки и письменность народов Севера. Т. 4. Л., 1935.
11. *Прокофьев Г. Н.* Этногония народностей Обь-Енисейского бассейна. Советская этнография. № 3, 1940.
12. *Прокофьева Е. Д.* Красный путь. Начальная селькупская учебная книга. Л., 1932.
13. Природа и человек в религиозных представлениях народов Сибири и Севера. Л., 1976.
14. Проблемы археологии Урала и Сибири. М., 1973.
15. Социальная организация и культура народов Севера. М., 1974.
16. *Хомич Л. В.* Проблемы этногенеза и этнической истории ненцев. Л., 1976.
17. *Чернецов В. Н.* Новый путь. Начальная мясийская учебная книга. Л., 1932.
18. *Чернецов В. Н.* Древняя приморская культура на полуострове Я-мал. — Советская этнография. № 4—5, 1935.
19. *Чернецов В. Н.* Древняя история Нижнего Приобья. Материалы института археологии. № 35, 1953.
20. *Чернецов В. Н.* Наскальные изображения Урала. — Археология СССР. Свод археологических источников. Вып. В4—12. М., 1971.
21. Языки и письменность народов Севера. Л., 1935.

В работе над книгой большую помощь автору оказали Ванда Иосифовна Мошинская, Людмила Васильевна Хомич, Юрий Абрамович Крейнович, Евдокия Ивановна Ромбандеева, Наталья Митрофановна Терещенко, Михаил Федорович Косарев, Иннокентий Степанович Вдовин, Отто Николаевич Бадер, Сергей Владимирович Попов, Александр Григорьевич Прокофьев, Галина Александровна Разумникова, Ольга Давыдовна Шнеллингер (Вербова), Юрий Борисович Симченко, Владимир Иванович Васильев, Владимир Владимирович Лебедев, Зоя Петровна Соколова, Чунер Михайлович Таксами, Сергей Васильевич Иванов, Николай Иванович Терешкин, Петр Яковлевич Скорик, Михаил Григорьевич Воскобойников, Юрий Борисович Стракач, Григорий Евгеньевич Марков.

Содержание

ГЛАВА 1
Уникальный институт
3

ГЛАВА 2
«Юрё» (Георгий Прокофьев)
35

ГЛАВА 3
«Паднана луца» (Григорий Вербов)
99

ГЛАВА 4
«Лозум хум» (Валерий Чернецов)
129

Основная использованная
литература
187

Омельчук А. К.

0-57

Рыцари Севера. Свердловск, Сред.-Урал. кн. изд-во,
1982. — 192 с. с ил.

25 коп.

Рассказы о советских ученых-энтузиастах, со-
здавших письменность для малых народностей Се-
вера — ненцев, хантов, манси, селькупов.

О 20901-038 1905020000
M158(03)-82

ББК 26.89(2)
91(98)

ИБ № 858

Анатолий Константинович
Омельчук

РЫЦАРИ СЕВЕРА

Редактор Ю. А. Дорохов
Художник В. С. Солдатов
Художественный редактор
А. В. Вохмин

Технический редактор
Л. М. Голобокова

Корректоры И. Ш. Трушникова,
Е. И. Ерина

Сдано в набор 16.06.81.

Подписано в печать 19.01.82.

НС 12005. Формат бумаги 70×100¹/₃₂.

Типографская № 1. Обыкновенная новая
гарнитура. Высокая печать.

Усл. печ. л. 7,7. Усл. кр.-отт. 8,0. Уч.-изд. л. 8,0.

Тираж 15 000. Заказ 296.

Цена 25 коп.

Средне-Уральское книжное издательство,
620219, Свердловск, ГСП-451, Малышева, 24.

Типография изд-ва «Уральский рабочий»,
620151, Свердловск, пр. Ленина, 49.

Обложка отпечатана в производственном
объединении «Полиграфист»,
Свердловск, Тургенева, 20.

~ 14,50р ~

Дорогой читатель!

Мы будем очень благодарны,
если Вы пришлете свой отзыв
об этой книге.

Наш адрес: 620219,
Свердловск, ул. Малышева, 24,
Средне-Уральское книжное
издательство.



**АНАТОЛИЙ
ОМЕЛЬЧУК**

25 коп.

**Свердловск
Средне-Уральское книжное издательство**

Салехардский журналист А. Омельчук — автор краеведческих книг «Салехард» и «Зов Арктики», выпущенных в Средне-Уральском книжном издательстве. В новой работе он повествует о гражданском подвиге советских ученых, принесших свет грамотности отсталым народностям Сибирского Севера. В памяти ненцев, манси, ханты эти подвижники просвещения остались как самые близкие люди. Г. Н. Прокофьева они называют «юрё» (друг), В. Н. Чернецова — «лозум хум» (лозьвинский человек), Г. Д. Вербова — «паднана луца» (самый знающий русский).

В книге воскрешаются малоизвестные страницы культурной революции на Советском Севере.